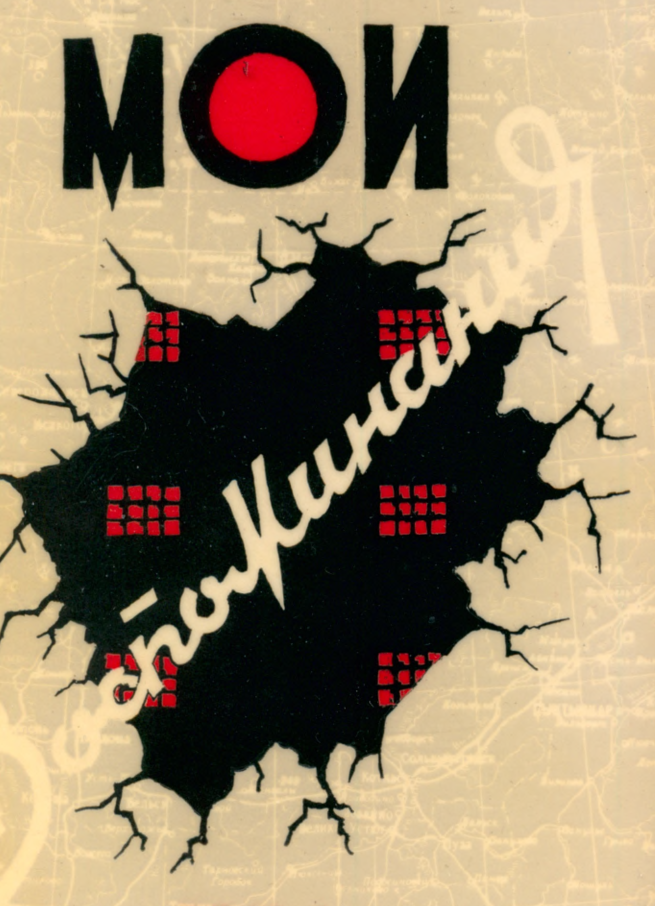
Е. ОЛИЦКАЯ



ТОМ I

ПОСЕВ

Е. ОЛИЦКАЯ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

I

(Гл. 1 — Гл. 6)

ПОСЕВ

Обложка художника Н. И. Николенко

Frankfurt/Main

Титульный лист самиздатовского экземпляра

ЧИТАТЕЛИ!

Пожалуйста, будьте аккуратны в обращении с этой книгой. Да и вообще... со всеми книгами «Самиздата».

Помните о перепечатывающих!..

Как озаглавить мне мои воспоминания?

Больше двух третей моей сознательной жизни прошли под страшным ярлыком «враг народа». Я не принимала этот эпитет, но болью в душе он отзывался всегда. Я — враг народа! Возможно, все враги народа считают себя его друзьями, а может быть, и благодетелями. И друзья, и враги не движимы ли они страстным желанием осчастливить свой народ, каждый по своему плану, каждый на свой манер. И те, и другие считают, что они, и только они, владеют истиной, обеспечивающей счастье народное. Во имя этого счастья, во имя прекрасного будущего, требуют они от своего народа неисчислимых и бесконечных жертв.

Враг ли я, друг ли я своему народу? Могу ли я сказать, что я дочь моего народа? Что я верила, боролась, страдала вместе с ним? Что я отражала его чаяния и надежды? Как радостно было бы такое сознание! Но, увы! Полностью слиться с моим народом мне не удалось, в силу внешних, не зависящих от меня, обстоятельств.



Чтобы жизнь моя стала ясной, понятной, я начну мои воспоминания с детства, и прежде всего упомяну о моих родителях, которых считаю людьми исключительными.

И еще хочу оговориться, мои записки не представляют «объективной истины». Я записала то, что отпечатлелось в моей памяти и так, как оно запечатлелось.

1. ДЕТСТВО И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Отец и мать

Случилось так, что отец мой, сын богатых евреев-коммерсантов, еще не закончив среднего образования, стал народовольцем. Способный к рисованию, он в совершенстве овладел резьбой и работал в паспортном столе Народной Воли в Киеве, то есть подделывал нелегальные документы, вырезал печати и т. п.

Он был судим по процессу «193-х», но по недостатку улик и по молодости лет отделался легкой ссылкой в Александровск-на-Днепре.

Отец любил вспоминать эти годы. Рассказывала нам и бабушка, мать отца, как ее допрашивал об отце следователь. Мы, детвора, восторженно слушали о том, как отец, предчувствуя возможность обыска, вынес в красном кожаном саквояже все компрометирующие материалы. На следствии он заявил, что в саквояже он выносил украденную у матери картошку. Мы гордились бабушкой, которая сокрушенно твердила следователю: «Ах, ты! Воровал! А я-то удивлялась, что картошки много расходуется».

В восторг нас приводило и то, что наша старенькая бабушка последние, зашитые в подушку, нелегальные документы благополучно переправила отцу в тюремную камеру, где он их и уничтожил. С восторгом слушали мы рассказы отца о том, как мужественно и смело вели себя заключенные по процессу 193 в тюрьме. Как пели они в камерах револю-

ционные песни, как на простынях подтягивались к высоким тюремным окнам, заглядывали в тюремный двор и вели разговоры с соседними камерами, несмотря на беснующийся надзор.

Из Александровска отец бежал, нелегально переправился за границу, добрался до Швейцарии, где поступил в Цюрихский университет на агрономический факультет. Там он работал в русском землячестве и был связан по работе с русскими революционерами-эмигрантами.

Моя мать происходила из старой дворянско-помещичьей семьи Халютиных. Многие члены этой семьи гордились своей родословной, записанной в какую-то «12-ю» книгу. Один из родичей мамы, Зеленый, раскопал даже самое происхождение фамилии Халютиных. Сыны небезызвестного палача Малюты Скуратова разделились на два лагеря. Одни с гордостью носили имя своего отца, другие подали на высочайшее имя просьбу об изменении фамилии и по высочайшему указу стали именоваться впредь Халютиными.

Родители моей матери были очень состоятельными людьми и, когда мать, окончив гимназию, выразила желание поехать за границу и поступить на медицинский факультет (в России тогда женского медицинского института не было), не стали возражать и разрешили ей ехать учиться в Швейцарию, в Цюрих.

Там встретились мои родители, там и полюбили друг друга. Мать моя, окончила медицинский факультет, сдала экзамен на доктора медицины. Отец закончил сельскохозяйственный институт, отработал практику и получил звание агронома. Широкое поле деятельности среди русского народа грезилось ему. Тоска по родине томила. Но родители знали

точно: на русской границе отца неизбежно арестуют. Для сохранения связи между собой они решили закрепить свои взаимоотношения церковным браком. Отец был еврей, мать русская, православная, бракосочетание осложнялось. Выхода не было — отец принял крещение.

На родине телеграмма молодых вызвала страшный переполох:

— Боже, какой шокинг! Еврей!

Одну тетушку окончательно потрясло то, что при крещении отец принял имя Лев Степанович:

— Почему Степан? Какое плебейское имя!

До конца жизни тетушка, очень полюбившая потом отца, упорно называла его Лев Борисович.

Во второй семье драма была не меньше: «Женился на русской! Крестился! Отказался от веры отцов!»

А молодые совершали свое брачное путешествие вплоть до русской границы. На границе, как они и предполагали, отец был арестован и по суду получил год одиночного заключения (который он и отбыл в Петербурге, в Крестах) и десять лет под надзор полиции. Мать тогда же была отправлена на поруки родителей в их поместье Марьевку Воронежской губернии с лишением права въезда в столичные города сроком на 10 лет.

Время шло. Что было делать родителям со своей блудной молодежью. Медицинская работа была моей матери воспрещена, так как заграничного диплома для права практики в России было недостаточно, нужно было сдать государственный экзамен при одном из столичных учебных заведений, куда въезд ей был воспрещен.

Положение отца было не лучше. С политической неблагонадежностью ни на какую работу по специ-

альности в государственных учреждениях он не мог рассчитывать. Какой помещик взял бы к себе в управляющие агронома с такой блестящей репутацией, как год тюремного заключения с последующей десятилетней поднадзорностью.

На совещании глав семей было решено свить для деток гнездышко. Для них был куплен небольшой участок земли где-то на Кавказе. Непокорных детей и это не устроило. Ни сады, ни виноградники, ни доходность участка не привлекали отца. Ему нужен был простор русских полей, с темным отсталым русским крестьянином, которому он понесет культуру духовную и культуру аграрную, с которым он будет толковать о правилах севооборота, которого он будет снабжать отборными семенами и племенными производителями, с которым, наконец, он будет читать газеты и книги и которого будет просвещать и лечить его жена.

Клочок земли на Кавказе очень быстро был продан. На вырученные деньги приобретено небольшое поместье в 250 десятин земли в самом центре России, в черноземной полосе, в Курской губернии.

Мечты и действительность

От станции Полевая Курско-Харьковской железной дороги, где поезд останавливается на 2-3 минуты, вьется проселочная дорога по слегка холмистой равнине. Узенькие деревянные мосточки через речушку, носящую название Полная. По обеим сторонам необозримые заливные луга. Лесок на болоте. Овражек в бобовниках и поля, поля... Вытянется в одну улочку деревенька — штук 20-30 крытых соломой хатенок с торчащим на окраине журавлем

колодца, с парой-другой пчелиных колодок на окаймляющих сельцо деревьях — и опять поля. Русская чересполосица бежит по обе стороны дороги. Чередуясь узкими лентами до самого горизонта, перемежались полосы ржи, гречихи, овса, проса... И опять деревенька. На 1-ой версте столб у дороги, серый, покосившийся от времени. К столбу прибита дощечка, такая же серая, и на ней при желании можно прочесть: «Сорочин Верх», «Любимово тож». Столб стоит на перекрестке. Дорога направо ведет к хутору — всего-то 12 дворов. Маленькие, кособокие, соломой крытые хатенки виднеются на склоне овражка, за выгоном. Дорога налево ведет в усадьбу помещика. Ворота в усадьбу всегда открыты настежь, одна створка соскочила с петель. От ворот, вокруг усадьбы не то вал обвалившийся, не то вал засыпавшийся, а вдоль него старые вековые деревья: тополя, березы, осины. Лихо въезжает таратайка в ворота, огибает хозяйственные постройки: конюшню, скотный двор, сараи и амбарушки низенькие, все соломой укрытые и, развернувшись у кружка из акаций и шиповника, останавливается перед господским домом, маленьким, низеньким, тоже под соломенной крышей. У крыльца высокий серебристый тополь, а за домом сад.

Почему моя мать, выйдя из таратайки, села на чемодан и заплакала, я никогда не могла понять. Но всегда именно так описывала она свой первый приезд в Сорочин. И, как это ни странно, мне было жаль не ее, а отца. Моя мать, так и не полюбила наш милый старый Сорочин с его покосившимся домом, с его запущенным садом, заросшим крапивой, чернобыльником и полынью. Своих рук, если не считать домашнего хозяйства, она почти и не приложила к нему. То ли после родового имения Марь-

евки он казался ей убогим, то ли сельское одиночество угнетало ее. Часто, помню, говорила мама о том, что если бы капитал, вложенный в нашу деревушку, был бы просто отдан под проценты в банк, доходы наши не уменьшились бы.

Не меркантильные соображения руководили моей матерью, много, очень много горьких разочарований пришлось пережить родителям в нашем Сорочине. Ведя хозяйство, отец не руководствовался вопросами выгоды и доходности. Он увлекался сельским хозяйством. Он старался по мере материальных возможностей вести его по последнему слову науки. Каждую свободную копейку он вкладывал в хозяйство. Возводились новые конюшни, скотные дворы, только дом наш отец не удосужился перестроить. Зато его племенные жеребцы, бык и свиньи удостоивались первых премий на выставках, а полевое хозяйство не имело себе равных в уезде.

Настойчиво, шаг за шагом сближался отец с крестьянами, читал с ними газеты, толковал о хозяйстве, о погоде, о видах на урожай и о политике. Крестьяне уважали и любили отца, но переступить бездну, разделяющую крестьянина и помещика, не могли ни они, ни он.

Помню, днями, а то и неделями, отец ходил угрюмый и подавленный. Крестьянский скот снова потравил его клеверище. Каждый раз он грозно уверял, что не спустит при повторении потравы, назначал штраф за потраву по рублю с головы, грозил подать в суд, но, так как у стоящего перед ним крестьянина никогда не было этого лишнего рубля, и он молча стоял перед отцом и мял в руках картуз, отец записывал его в какую-то книгу. Бедный папа! Мы часто смеялись над его грозным видом. Мы отлично знали, что он никогда не подаст в суд

на крестьянина и никогда не взыщет записанных в книгу рублей.

Во имя папиного хозяйства вся наша семья во многом себе отказывала. Не было отказа в питании, стол у нас всегда был сытный и здоровый, не было отказа в воспитании и обучении детей, если не считать гувернанток немок и француженок, от которых маме пришлось отказаться, когда родился младший брат, а мне исполнилось 5 лет. Не было отказа в книгах и журналах. Живя круглый год в деревне, папа выписывал целый ряд газет и журналов, не говоря о сельскохозяйственной литературе. В доме у нас стояли шкафы, до отказа заставленные научными книгами, беллетристикой и журналами.

Отношение отца к крестьянам, его тяга к крестьянству накладывали на нашу жизнь особый отпечаток. У папы не было знакомства среди соседей-помещиков, он общался только с крестьянами. Своеобразные отношения были у нас дома и с прислугой. К нам, детям, ближе всего стояла, конечно, няня. Я хорошо помню лицо и фигурку нашей, согнутой годами, старушки-няни. Все в доме уважали и любили ее. Она нянчила старшую сестру, брата, вторую сестру и меня. Мама была очень привязана к ней. Одной из радостей нашего детства был большой окованный железом нянин сундук. Чего только не таил он в себе! Сама крышка его была предметом радостей и восторгов. Когда няня поднимала крышку своего сундука, мы облепляли его, как мухи. Вся крышка сундука была изнутри оклеена картинками. Тут были и куклы в нарядных платьях, и изображения разных зверей, и просто красивые конфетные бумажки. Почтительное и уважительное отношение было у нас к единственной няниной

фотографии. Няня была снята на ней в кругу своей семьи. Уже не молодая, сидела она в своем вечном синем чепчике в центре большой семейной группы. Няню окружали 22 ее сына. Что понимала я, девочка? Но 22 сына внушали мне восторженное почтение к няне. Няня рассказывала нам чудесные сказки, но самой любимой, самой диковинной сказкой няни была сказка о ее жизни. Няня в юности была крепостной, и крепостной у очень злой барыни. Кочергой, в припадке злости, перебила барыня няне нос, он так и остался у няни кривой. Всегда, когда рассказ нянин доходил до того места, как барыня за какой-то тайком съеденный няней соленый огурец взялась за кочергу, я с ужасом вглядывалась в лицо няни, и казалась она мне сказочной героиней.

Когда няня умирала, мы уже жили в городе. По ее желанию проститься с нами, папа поехал за нами в город. Увы! Зимняя дорога была очень плоха и, приехав в деревню, мы не застали няню в живых.

Переезд в Курск

Вопрос о переезде в город встал, когда сестра и брат достигли школьного возраста. Мне тогда было около 5 лет. Я не помню сама. Но по рассказам знаю, что вопрос о воспитании детей решался в нашей семье трудно. Папа настаивал на том, чтобы детей воспитывать самим, дома — учить и приобщать к сельскому труду. «Пусть растут, как растут крестьянские дети, с той разницей, что мы сами сможем влиять на них и учить», — говорил папа. Мама решительно настаивала, чтобы детей отдать в гимназию, не предопределяя их судьбу. «Как будто такое решение не предопределяет», — возмущался

отец. Но в этом вопросе мать не пошла на уступки, и переезд в город состоялся.

Семья наша разбилась на две части: отец со стариками родителями, разорившимися к тому времени (дед проиграл все состояние на скачках), остался в деревне. Каждую субботу приезжал он к нам в город, проводил с нами воскресенье, а в понедельник уезжал обратно. Мы с мамой жили в городе весь учебный год, а каникулы — рождественские, пасхальные, летние — проводили в деревне.

Хотя я была уже большой девочкой, воспоминания у меня сохранились отрывками. Я помню, какой большой казалась мне при переезде наша городская квартира и каким маленьким деревенский домик.

Деревню я любила больше, чем город: жилось мне в ней вольготней и привольней.

Японская война прошла для меня мало замеченной. Единственное, что врезалось в память — это огромные плакаты, очень нравившиеся нашему конюху Тихону. На плакатах были нарисованы карликовые, уродливые фигурки япошек и богатырские фигуры русских удальцов. На каждом из плакатов под картинкой были напечатаны стишки, воспевающие подвиги наших богатырей и унижающие японцев. Многие из них мы, дети, знали тогда наизусть и громко распевали к ужасу матери. С дедушкой мы играли в войну, в разведчиков и шпионов, и без конца побеждали японцев. Позже, когда я узнала об исходе войны, я совершенно недоумевала вместе с Тихоном, как же могло случиться, что маленькие японцы, живущие на таких же маленьких, как они сами, островах, смогли победить такого колосса как Россия. И с самых детских лет во мне появилась недоверчивость, враждебное отношение

ко всяким и всяческим плакатам, и кажутся они мне грубой и обязательно таящей в себе ложь агиткой.

Революция 1905 года

Из революции 1905 года ясно стоит в моей памяти только один день. Утром, напившись чаю, старшие брат и сестра ушли в школу на занятия. Вторая моя сестра Аня и жившая тогда у нас гувернантка вышли гулять на улицу. Не успели мы пройти и квартала по главной улице города, как навстречу нам стали попадаться бегущие люди, сначала одиночки, затем все большие группы. Фройлейн, явно чем-то встревоженная, велела нам вернуться домой. Схватив нас за руки и все ускоряя шаг, она почти волокла нас. У порога нашего дома нас догнала старшая сестра. Она сказала, что гимназия закрыта и учащихся распустили по домам.

Мама нас встретила встревоженная и, расцеловав нас, повторяла без конца:

— Ну, где же Ася? где Ася? (Так звали мы старшего брата.)

Сестра Аня и я чувствовали, что происходит нечто необычное. Мы залезли на окно и, усевшись на подоконник, стали смотреть на улицу.

Улица была полна народу, все новые и новые группы людей подходили к зданию крестьянского банка, расположенного против нашего дома. Там и сям над головами людей взвивались красные флаги. Внезапно Аня закричала:

— Смотри! Вон папа!

И я увидела отца: он стоял в толпе, размахивая снятой шляпой над головой. Вслед за отцом и другие стали размахивать шляпами. Мы звали маму,

но пока она подошла, толпа людей вместе с отцом куда-то удалилась. Улица опустела.

Не успели мы слезть с подоконника, как мимо окон промчался брат. Запыхавшийся, без фуражки влетел он в комнату. И мама кинулась к нему. Брат стал рассказывать, как он с товарищами бежал переулками домой, спасаясь от каких-то громил, которые идут по главной улице пьяные, бросают камни, бьют окна.

Мы не успели как следует расспросить брата, как в комнату вбежала Акулина:

— Барыня! — говорила она, — народ к нам в коридор набился, запереть парадное, что ли!

— Не запирай, — ответила мама.

— Да куда же, барыня, их и так полным-полно, поглядите сами!

Вместо мамы я стремительно бросилась к двери. Действительно, весь наш коридор, вся лестница на второй этаж были полны людьми. Мама тут же настигла меня и забрала обратно в комнату.

В квартиру нашу из коридора тоже заходили какие-то люди, приглашенные матерью. Нам, детям, мама запретила выходить в коридор, запретила залезать на подоконники.

Акулина ходила за мамой по пятам. «Барыня, — молила она, — закройте ставни. Барыня, родимая, хоть иконы на окна поставьте, все соседи повыставляли». Мать, взволнованная отсутствием отца, обрывала ее: «Я иконами ни от кого закрываться не буду, да и икон у нас нет». — «Барыня, я свои с кухни принесу. Ведь булыжники с мостовой рвут и в окна мечут. Евреев бьют, а где иконы, не трогают».

Что Акулина трусиха, мы знали давно. А мама была храбрая! Мама не велела ставить иконы, она

говорила о чем-то с людьми, заходившими из коридора, и сама заходила в коридор.

С улицы, действительно, несся какой-то непонятный, нарастающий шум. Видя, что мать занята разговорами, мы снова забрались на подоконник. Опять по улице проходила толпа, но как непохожа она была на первую. Мне бросились в глаза и запечатлелись в памяти мужские фигуры в фартуках, с взъерошенными волосами и возбужденными лицами. И тут один из толпы, действительно державший булыжник в руках, запустил его в нашу сторону. Дзынь! Зазвенело оконное стекло. Булыжник упал на пол, а мы скатились с подоконника под возмущенный окрик матери.

Булыжник был небольшой, серый, но мама не дала нам его рассмотреть, она загнала нас в задние комнаты, окна которых выходили во двор.

Потом шум на улице затих. Люди из нашего дома ушли. Еще несколько позже вернулся отец, и долго они говорили с матерью о том, что громил организовала черная сотня, что она подпоила мясников и вывела их на улицу, что в еврейских кварталах они буйствовали, что казачьи отряды появлялись лишь в тех кварталах, из которых громилы уже ушли. И разгоняли они манифестантов, а не громил, что даже отца один из казаков слегка задел нагайкой. Может быть, именно тогда я впервые услышала имена Маркова и Пуришкевича.

Уже значительно позже, когда я стала осмысливать революционное движение и интересоваться им, я все допытывалась, какое же участие принимали мои родители в революции 1905 года, мне почему-то было стыдно спросить их об этом. Мне казалось, что они не принимали в ней достаточно активного участия и что им будет стыдно в этом признаться

мне. Так я и не спросила. А самой мне все думалось, что есть какая-то неувязка между их революционной молодостью и поведением во время революции 1905 года. А может быть, меня, подростка, они не хотели посвящать в конспиративные дела тех лет.

Я знала из разговоров о каких-то собраниях, какие-то собрания проводились у нас на квартире, у отца в деревне были спрятаны какие-то ящики с нелегальной литературой, какой-то ящик со шрифтом был зарыт там под березой. Но всего этого было мне недостаточно. Конечно, мысли эти возникли у меня позже, но зарождались, складывались они, также как взгляды и убеждения, с самых детских лет под влиянием окружавшей меня жизни, прежде всего отца и семьи, царивших в ней убеждений, слышимых мной разговоров.

Поступление в гимназию

В период революционного подъема в нашу гимназию прибыла целая плеяда молодых, только что окончивших высшие курсы учительниц. Они внесли освежающую струю в жизнь всей гимназии. Поселились они все вместе, сняв общую квартиру, где у каждой была своя комната. Свою квартиру они называли «коммуна». На них косилось начальство гимназии, косились черносотенно настроенные священники, преподаватели Закона Божьего.

Моя мать была членом родительского комитета. Она познакомилась с учительницами. Старшая сестра восторженно отзывалась о них. Порой, когда учительницы заходили в гости к маме и в столовой за чаем велись какие-то таинственные, так мне по крайней мере казалось, разговоры, я подсматривала

в щелку двери и настороженно ловила отдельные фразы.

Говорилось ли там о совместном обучении девочек и мальчиков, о вредности ли экзаменов и бальной системы, о черносотенных ли выходках учителя закона Божьего Чиканова, о муштре и обязательной форме, о шпионской деятельности синявок, что я понимала в этих разговорах! Что отпечатлялось в моей душе, детской памяти! Первым вопросом, осознанным мной сквозь мою детскую призму, был вопрос о равноправии женщин.

В нашей семье не было различия в воспитании нас, трех девочек и брата. Вместе вышивали мы какие-то салфеточки, вместе играли в куклы, разбойников, катались с горы на салазках, играли в снежки.

Друзьями нашими во всех играх были деревенские ребятишки, девчонки и мальчишки наравне. Разницы между нами не существовало. При переезде в город, с появлением городских детей, мне привелось услышать новые замечания: «Мальчику — можно, а девочке — нельзя». «Ведете себя, как мальчишки» и т. д.

Сразу же девочки «цирлих-манирлих», как мы их называли, нам не понравились. Куда пленительней был образ мальчишки сорви-голова. Вырастая в деревне, в широком мире полей и лугов, среди деревенских друзей, я и не умела даже приноровить свой голос, свои движения к комнатным размерам. Дома мама нас не стесняла, мы озорничали вовсю. Первые уроки благопристойного поведения я получила, поступив в гимназию. Начались мои столкновения с благопристойностью не очень удачно для меня.

В 1907 году я держала экзамены в старший при-

готовительный класс курской Марлинской женской гимназии. В том же классном помещении Аня держала переходный экзамен из старшего приготовительного в первый. Мама ожидала нас обеих в коридоре. Шел экзамен Закона Божьего. Вызвав меня к столу, батюшка велел мне прочитать молитву «Отче наш». Я затараторила ее уверенно и так громко, что эхо звенело по всему классу. Законоучитель засмеялся, погладил меня по голове и отпустил на парту.

Счастливая выскочила я к маме в коридор. И каково же было мое удивление, когда сестра, вышедшая следом, шепнула маме: «Катя-то провалилась, всю молитву переврала». Мама встревожилась. Я недоумевала: «Врешь, батюшка меня по голове погладил и молодцом назвал».

Вскоре объявили результаты экзаменов. Выдержали все. Законоучитель подошел к маме и благодушно сказал ей, что я действительно переврала всю молитву: «Ну уж так громко, да так уверенно, что как не пропустить». К сожалению, первая удача оказалась последней. Дальше пошли тернии на моем пути.

Мои коротенькие косенки, как мама ни затягивала их, заплетая, как ни завязывала, упорно расплетались, и я всегда сидела лохматая. По три раза в день мне их переплетала классная дама, твердя: «Благовоспитанная барышня не должна ходить растрепанная». Я вовсе не хотела быть благовоспитанной барышней, да и плести мои косы она не умела. Мама и Акулина затягивали мои упрямые вихри так, что голова у меня трещала, и то они рассыпались. Синявка же легонько переплетала пряди и завязывала ленту красивым бантом. Но стоило мне разок-другой тряхнуть головой, как все ее труды рассыпались по

плечам. Это было не худшее. Худшее начиналось на переменах.

Я и сейчас помню, какой восторг я испытывала, скользя на животе по перилам лестницы вниз. Устраивались у нас в классе и гонки, которые носили название «кругосветных». Надо было выбежать по окончании урока из класса, скатиться по лестницам к раздевалкам, перебежать коридор на другой конец здания, взлететь по лестницам наверх, пересечь снова все коридоры, большой зал и добежать до своего класса. Сколько раз во время этих гонок влетала я головой в живот или колени синявкам и даже начальнице!

А игра в «кошки-мышки» или в каменную стену! Уж эти-то игры я знала хорошо. В них мы играли с деревенскими ребятами на выгуле. Я твердо знала, что играть надо честно, с полным напряжением сил, не поддаваясь никому. И что же! Когда я пнула коленкой кошку, противозаконно пытавшуюся поймать мышь, меня вывели из круга, заявив, что я вовсе не умею играть прилично, что благовоспитанные девочки не лягаются как лошади. Когда я, играя в «каменную стену», ударом наотмашь, разрывая стену, ушибла руку одной из девочек, меня вывели из круга, потому что я — сорванец. Наконец, когда меня поставили петь в хоре и я, вольно вздохнув, дала полную силу всем своим голосовым связкам, меня выставили из хора.

Нельзя было в разговоре со старшими, пожимать плечами, выражая недоумение, нельзя было сказать «черт его дери», нельзя от души расхохотаться, нельзя ходить, топая ногами, размахивать руками. Надо быть благовоспитанной, а не сорванцом. О, Боже мой! Конечно, я была за равноправие, и с каким восторгом я приезжала в мой родной Сорочин.

Вот мы вылезаем из поезда, вот уселись на линейку, выехавшую за нами на станцию. Безбрежная ширь полей, ширь неба. Ветерок свежий треплет волосы, пой полным голосом, чтобы грудь разрывалась, что хочешь и как хочешь, без мелодий, без мотива, во что горазд. И пели же мы! Пели так, что теперь мне трудно представить, как это пение выдерживали и конюх, и лошади, и линейка.

Акулина

Встал передо мной вопрос о равноправии и с другой стороны. В городе с нами жила всегда наша прислуга Акулина. Она убирала комнаты, варила обед, стирала белье и жила на кухне. В то же время она являлась непременным членом нашей семьи. Всего она прожила у нас 22 года, и поступила к нам еще с моего рождения. Жила она у нас со своим сыном Колей, товарищем наших детских игр.

История Акулины была такова: черноглазую, полногрудую, напропалую веселую шестнадцатилетнюю девушку выдали замуж за пропойцу, и чуть ли не с первых дней он начал бить ее «смертным боем».

Старалась она к нему всячески приспособиться, но не смогла: то бил он ее под пьяную руку за то, что много зубы скалит, то за то, что больно грустна и тиха.

Выдержала Акулина эту замужнюю жизнь ровно два года, а на третий, когда муж чуть не зарезал ее ножом, убежала, вырвав из мужниных рук нож. Нож она вырвала, схватив его за лезвие и перерезав себе сухожилия так, что всю жизнь пальцы ее на правой руке не сгибались и не разгибались до

конца. Выкрав потом у заснувшего мужа сынишку, Акулина ушла жить в люди.

Тяжелая жизнь выпала на долю этой молодой женщины. Откуда черпала она неисчерпаемый запас бодрости и веселья! Где была Акулина, там были шутки и смех. Нашими детскими сердцами она владела полностью, да и как могло быть иначе, такой затейнице в плясках, шутках, песнях, гаданьях и прибаутках — да не овладеть детскими сердцами! Но она овладевала и сердцами взрослых. До нас Акулина сменила ряд хозяев. В одном доме жена приревновала ее к мужу, в другом — надоели требования ее мужа, чтобы ему ее выдали, в третьем... Это ее приключение я расскажу подробнее:

— Поступила я на работу к начальнику станции, — рассказывала она нам. — Немолодой он был, одинокий, холостой. Хозяйство небольшое, работы немного — ни кур не держал, ни коровы, ни свиней. А жил хорошо, богато жил, и Колю моего любил, ласкал. И веселый был, шутник тоже, но баловства ни-ни, этого себе не позволял. Живи да и только.

— Так чего же ты от него ушла? — торопили мы много раз слышанный рассказ.

— Как-то забывчива я была. То то забуду, то это не сделаю — все сходило. Одно он требовал, чтобы к обеду всегда была рюмка водки. А я забывала вовремя купить. Хвать к обеду за бутылку, а она пустая. Как-то тоже так случилось, он и говорит: «Научу я тебя, Акулина, не забывать, раз слов не слушаешь — всю жизнь помнить будешь». Я спрашиваю: «А как же вы меня научите, если у меня память такая?» — «Тогда сама увидишь». Я не поняла даже, шутит он или всерьез стращает, только ко вниманию приняла. Как обед собирать, так проверяю, есть ли водка. Нет — бегом на станцию. Там

лавчонка была и приказчики веселые ребята были, по правде сказать, бегать-то туда я любила. Дома все одна да одна, а на станцию сбегаешь, все развлечение. Долго я после этого разговора продержалась, месяц, наверно, а то и больше, а тут — забыла, что хочешь, забыла поглядеть. Пустую-то бутылку на стол поставила, а сама на кровать на кухне прилегла, да и заснула. Просыпаюсь — кто-то меня за плечо трясет. Подскакиваю — барин! В руках пустая бутылка из-под водки. Сует он мне ее в руки. «Ты что же это, опять пустой бутылкой угощать хочешь! А ну, марш на станцию. Слетай мигом, а то мы спешим». Я за бутылку и — бегом, только платочек на голову набросила. Бегу, думаю, хорошо, что с гостем да веселый, а не то попало бы мне. Бегу, разгорячилась, день жаркий был, только пот рукой вытираю. Народу в лавке, как на грех, много. Протиснулась к прилавку, прошу — Афанасий Иванович, дайте, за ради Бога, поскорее бутылочку водки, а он как-то странно мне в глаза глянул. Подает бутылку и говорит приказчику: «Дай-ка мне, Семен, зеркальце, я красотке подарить хочу». Не успела я опомниться, как под самый нос мне зеркальце подводят. Глянула я, Господь мой Спаситель, лицо мое все как есть сажей измазано, где кружки, где подтеки, живого места нет. Не помню, как я из магазина выскочила, и зеркальце в руке, и бутылку к груди прижимаю, а за собой только слышу смех да хохот. Прибежала домой сама не своя. И бутылку, и зеркальце в кухне на столе бросила, и у себя в горнице заперлась. Бросилась на кровать и реву, разливаюсь. Уж как они там отобедали, не знаю. Три раза ко мне стучали, только я не отперла. Так они и на работу ушли. Сынок Коля жмется ко мне: «Мамка, мамка, чего ты?» А я только сажу по лицу

руками растираю. Ну уж, думаю, погоди ты. Три дня терпела. И он ничего, молчит, только ухмыляется, черт, охальник. Три дня вытерпела, но думаю — вовек не забуду и ты, начальничек, попомнишь. На третий день, только он, пообедавши, прилег отдохнуть, да как следует расхрапелся, взяла я уголек из печи поаккуратнее да всю его морду и расписала. Сама дрожу, а не отступаюсь. Фуражку его начальническую захватила и бужу. У самой от страха зуб на зуб не попадает. Все равно бужу: «Барин, а барин, на станции что-то стряслось — срочно вызывают». Вскочил он, глянул на меня, а на мне, видать, лица нет. Схватил фуражку и за дверь. Только выговорил: «Пассажирскому время».

Тут Акулина смолкала, а мы настойчиво требовали продолжения. Мы так ясно представляли себе, как начальник станции появился на перроне с размалеванным Акулиной лицом. Мы требовали продолжения, мы гордились поступком Акулины. Но Акулина заключала ворчливо:

— Чего-чего, выгнал он меня с Колей в один момент, вот чего.

Живя у нас, Акулина не прекращала шутить и озорничать. Романов у нее было не счесть числа. Стражники, ломовые, извозчики сменяли один другого. Увлечения были и легкие и серьезные. Поплакать она тоже любила. Слез, как и смеха, у нее было море разливанное, причем она очень легко переходила от одного к другому. Раз или два в год к нам являлся ее законный муж и требовал ее к себе. В этих случаях ее отчаяние и страх были так глубоки, что мы, дети, ходили потерянными целыми днями. Жила Акулина у нас без паспорта. Муж имел право затребовать ее к себе. Отец и мать всегда как-то улаживали этот вопрос, но до самой революции

Акулина жила под страхом бесправия русской женщины, дрожала за свою судьбу и за судьбу своего сына.

Отношение к религии

Еврейское происхождение отца, жизнь с нами бабушки и дедушки наложили свой отпечаток на нашу семью. Религии для отца в обычном понятии этого слова не существовало. Мать как-то по-своему верила в Бога, но детьми мы этого не ощущали. На Рождество, на Пасху, в какие-то двунадесятые праздники к нам в деревню заезжали поп с дьяконом. Приезды эти вызывали некоторую суматоху. Бабушка и дедушка уходили в свою комнату: мы, вся детвора, стремились сбежать, но отец с матерью ловили нас и требовали нашего присутствия. Войдя в дом, поп здоровался, а потом сразу, облачившись, становился перед иконой, висевшей в углу в столовой, и быстро и протяжно произносил какие-то молитвы, дьячок вторил ему, подтягивая. Понять слова произносимой молитвы я не могла. По окончании молитвы начиналось крестоцелование. Руки у священника были жирные, потные, крест почти утопал в них и все мы, дети, с отвращением прикладывались к кресту плотно сжатыми губами. После исполнения всех формальностей поп снимал облачение, появлялись дедушка и бабушка, и все садились к столу. Попу и дьякону подносили по рюмке водки, подавался обед или закуска. Посидев полчасика, поп уезжал. Кажется, отец давал ему еще какие-то деньги. С родителями мы мало говорили, но крестьянство попов не любило. Акулина, да и другие крестьяне рассказывали нам много комических рассказов об их алчности и скупости. Вот сти-

шок, который был очень популярен среди наших крестьян:

Неизвестного прихода
Был такой сердитый поп,
Что дьячка четыре года
Бил подряд кадилом в лоб.
Но дьячок раз рассердился,
Ленту взял,
Чтобы поп, листая книгу,
Той страницы не сыскал.
Книжку поп берет под мышку,
На амвон идет
И, развертывая книжку,
Говорит: — Господь речет.
По листам пальцы скакали,
Поп страницы не сыскал,
Но при каждой он странице
Возглашал: — Господь речет.
Тут дьякон к нему идет.
— Батька, что ж Господь речет?
«Господь речет, что ты скотина,
Распроклятый сущий вор,
Всех нечистых образина
И всех демонов собор.
Зачем ленту эту спрятал,
Чтобы черт тебя упрятал!
Я святого потерял.»
Тем обедню и скончал.

А мужики и бабы стоят да крестятся, добавляя от себя: каждый рассказчик.

Часто слышали мы от крестьян о скаредности попов, о том, как попы отказываются крестить, хоронить, причащать, если им не принесут подноше-

ния: яиц, масла и т. п. Под влиянием таких рассказов складывалось мое отношение к духовенству. Говела я первый раз в жизни, когда мне исполнилось 8 лет. При поступлении в школу к заявлению о принятии в гимназию должна была быть приложена справка о говении, и мама повела меня с Аней в церковь на исповедь к священнику. Я явно трусила, я приставала к маме с вопросами, что мне говорить священнику, в каких грехах каяться. У нас дома не постились никогда, не постились и перед исповедью. Никакой торжественностью не был обставлен дома и наш обряд говения. Справка для школы нужна, хочешь в школу — надо говеть. Все же мама надела на нас новенькие платья, завязала в косы новые ленты. В кулачок мне мама сунула полтинник и строго велела отдать его после исповеди батюшке.

Храм Божий, с его тишиной и полусветом, с высокими сводами, с коленопреклонными молящимися не мог не произвести воздействия на душу ребенка. С зажатым полтинником в руке, вслед за сестрой, я подошла робким шагом к священнику. Сам он рукой наклонил мою голову и покрыл ее епитрахилью. Сперва он ждал от меня исповеди, задавал мне какие-то вопросы, но я онемела. Тогда он сам произнес в поучение какие-то молитвенные слова, закрестил меня и разрешил идти. Стремительно вырвалась я из-под покрова и опрометью бросилась к маме. Я уткнулась лицом в ее юбку, прижалась к ее коленям и вдруг почувствовала, что полтинник по-прежнему крепко зажат в моем кулаке. Никакие уговоры отнести полтинник батюшке не помогли. Отнесла его Аня. На другой же день, во время причастия, мне было стыдно приблизиться к священнику, и вино и просфору я проглотила со страхом.

Второй и последний раз в жизни я говела, тоже ради справки, при переходе из третьего класса в четвертый. На этот раз мы говели в деревне. Ближайшая церковь находилась в селе, лежащем в пяти верстах от нашего Сорочина, и служил в ней тот самый поп, который приезжал к нам по праздникам славить Христа. Чтобы вовремя попасть в церковь, нам надо было выехать из дома очень рано, до рассвета. Обычно мы вставали поздно, и вся прелесть весеннего утра была нам незнакома.

Все началось необычно. Мама нас разбудила в 2 часа ночи, когда еще весь дом спал. При мерцании ночника мы тихонько оделись и вышли на крыльцо. Лошадка, запряженная в пролетку, уже ждала нас. На дворе едва серело и было прохладно. Мама в этот раз не ехала с нами. В пролетку уселись я с сестрой и Акулина. Тихон, кучер, шевельнул вожжами, и лошади тронули. Было зябко. Мы с сестрой прижались друг к другу и еще сонными глазами озирались вокруг. Все было ново, таинственно, причудливо. Давно знакомые предметы казались неведомыми привидениями, неожиданно выплывающими из тьмы и тумана. Как необыкновенно хорош наш русский простор в эти предрассветные часы! Гладь полей, необъятный купол неба над нами. Глаз скользит, ничто не задерживает его, ни во что он не упирается, ни обо что не спотыкается. Только рассвет, только тени и краски, неуловимые и изменчивые, да шорохи, да дуновение ветра и шелест трав. Такая тишина до первого солнечного луча, до первого птичьего голоса. А когда лучи солнца осветят восток, когда, наконец, над линией горизонта начнет выплывать кругло-огненный шар, какой гаммой красок вспыхнет эта ширь! Как меняется весь этот мир вокруг тебя, как сейчас же находит отклик в

тебе самой! Тайна природы, тайна мироздания, его богатство, сила, могущество захватывают тебя, и в ком есть хоть капля поэзии, не может не слиться с просыпающимся к жизни миром, не ощутить своего единства с ним, с его тайной, великой тайной природы!

Очарованная, оглушенная этим сельским утром подъезжала я к сельской церквушке. Зашла в нее, а таинство продолжалось. Высокие своды церкви тонули в полумраке. Скупо горели свечи, в их мерцании царские врата искрились золотой резьбой, а почерневшие лики на старых иконах, казалось, хранили какую-то тайну. Неведомо как — царские врата открылись, поток яркого света хлынул из алтаря, и вышел на амвон жирный поп, и в руках его было Евангелие с лентой-закладкой, а ко мне подходил наш дьяк с тарелочкой, на которой лежали медяки. Я положила свой пятак в общую кучу и ни во что уже не верила. Хотелось мне поскорее уйти из этого храма, и я думала о том, что можно заразиться, принимая причастие из общей ложечки.

В гимназии, в классе на задней парте сразу за моей спиной сидела рослая и тупая девочка. Однажды, во время урока я услышала презрительный шепот: «Выкрестка, у, выкрестка». Я сразу поняла, что это слово относится ко мне. Первым порывом моим было обернуться к ней и со всего размаха хлопнуть ее книгой по голове. Я, вероятно, так бы и сделала, но меня удержала Рая, моя лучшая подруга, еврейка, сидевшая рядом со мною на парте. Она сжала мою руку и шепнула: «Дура она — и все!» С Раей мы об этом больше не говорили, дома я тоже не рассказала никому о переживании моем, неясном, смутном, но тягостном. Года через три, а то и четыре, я много спорила с Раей о том, имел ли

право мой отец креститься. Рая доказывала, что он не имел права отречься от своего гонимого народа. Я возражала, что принадлежность к народу не является фактом рождения, что папин народ не чуждое ему еврейство, а русский народ, в частности, русское крестьянство. Но уверена в своей правоте я в то время не была. В споре с Раей мне хотелось видеть отца безупречным.

В семье нашей мне часто приходилось слышать разговоры о деле Бейлиса, о волне погромов, прокатившейся по югу России. Себя я считала русской, но, зная о юдофобстве, на вопрос о моей национальности всегда подчеркивала — папа еврей, мама русская.

Анка Большая

У моего отца была сестра, тетя Ида. Жизнь ее сложилась неудачно. Муж бросил ее с двумя маленькими дочерьми — Фаней и Аней. Девочки изредка гостили у нас в деревне. Были они значительно старше нас и, по существу, я их мало знала. Выросши, Фаня удачно вышла замуж за директора Бельгийской трамвайной кампании и жила в Курске. Мы изредка ходили с мамой к ней в гости. Я смущалась у них и не любила туда ходить. Младшую сестру Фани, в отличие от моей сестры Ани, мы называли Анкой Большой. Жила она в Киеве, где училась и куда мама с папой высылали ей деньги, кажется по 25 рублей в месяц. И вот, я и Аня уловили из разговоров старших, что с Анкой что-то произошло, что от нас что-то скрывают. И когда мы узнали, что Анка приезжает к нам в Курск, наше любопытство было разожжено.

Анка приехала, молодая, красивая, ласковая, ве-

селая. Но все шло не так, как обычно, когда родные приезжают в гости. Во-первых, мы установили, что Анка приехала не в гости, а «насовсем». Во-вторых, она вовсе не хотела жить в Курске. И, наконец, она сразу же заявила, что свою сестру Фани она знать не хочет и к ним не поедет.

Нас с сестрой Анка очаровала. Красивая, нарядная, она имела массу безделушек, которые любила показывать нам и которые мы очень любили рассматривать. В присутствии взрослых Анка была замкнута и холодна, но стоило им оставить нас одних, как она становилась мила и приветлива. Мы с сестрой терялись в догадках: одевалась Анка, по-нашему, замечательно. У нее были блестящие шелковые платья, обнажавшие шею и холеные руки в кольцах и браслетах. В чудных темных волосах ее были воткнуты резные гребешки, шпильки и пряжки, какие мы видели только в витринах магазинов. Ее туалетный столик был уставлен массой безделушек, пудрениц и флаконов с духами. Нам с сестрой она казалась королевой и мы никак не могли понять, почему она бедная, почему папа и мама должны помогать ей жить.

У нас в доме Анка прожила недолго. Почему-то для нее была снята отдельная комната.

— Ты взрослая, — говорила ей мама, — никто не хочет осуществлять над тобой надзор. Живи, как хочешь, как знаешь, но проживи этот год здесь. Одумайся, разберись во всем, этого я и Лева от тебя требуем.

— Вы видите, — отвечала Анка покорно, но строптиво, — я приехала.

Анка ежедневно приходила к нам обедать и очень часто после обеда забирала нас к себе.

Месяца через два или три Анка внезапно уехала.

Мама отказалась проститься с ней, отказала ей в материальной помощи. С нами, детворой, Анка простилась очень нежно. Мне она подарила на память маленькую мраморную статуэтку Венеры. Статуэтку эту я очень берегла, до самого ареста она всегда стояла на моем столике. Я не могу установить, эмблемой чего была для меня эта маленькая статуэтка, но я твердо знаю, что она была эмблемой чего-то вольнолюбивого, дерзновенного. Мне неясно, как воспринимали наши головы романтическую историю Анки. Решающими были, конечно, Анины фантазии и наблюдения. В наших беседах с сестрой Анка была героиней романа. Юноша, карточку которого мы у нее видели, был сыном очень богатых родителей. Он страстно влюбился в Анку, но родители не разрешали ему жениться на ней. Денег они ему давали много, и он все тратил на подарки Анке. Все взрослые не хотели понять, что Анка его тоже любит, — ни мама, ни папа, ни Фани. Все требовали, чтобы она рассталась с ним и уехала к нам в Курск. Он же просил ее не уезжать, а когда она уехала — вернуться. Мы с сестрой были на стороне влюбленных, нас возмущали преграды, которые ставили взрослые на их пути. Отъезд Анки мы рассматривали как мужественный и дерзновенный.

Противоречия жизни

Город рождал во мне массу противоречий, и я мечтала о деревне. В школе меня тяготил рутинный режим, начальница, классные дамы, законоучитель, неожиданно для меня оказавшийся перекрещенным из попа в батюшку, уроки чистописания и рукоделия, казавшиеся мне совершенно непереносимыми.

Только группу молодых учительниц мы обожали и превозносили до небес. Моей любимицей была Анна Васильевна Холявкина, преподававшая у нас географию. На ее уроках я сидела, как зачарованная, с ней мы путешествовали по разным концам света. Благодаря ей, я знала и любила предмет. Никогда никому в классе не приходило в голову шуметь на ее уроке или намочить мел, чтобы он не писал, или насыпать тертый мел в чернильницу, чтобы чернила шипели. Молодых учительниц мы любили и знали, что им трудно дышится в школе, что они на подозрении у начальства.

В деревне жилось легко и бездумно. Моими друзьями были деревенские ребята. Мы уходили с ними на выгон, бегали купаться на речку, качались на качелях, ездили верхом или уезжали с папой на дрожках в поле.

В детские годы ничто не мешало моей дружбе с Аксютой, Марфушей и Ганей. С годами отношения стали осложняться. Мы становились учеными, у нас появились другие интересы: к книгам, рассказам, стихам более сложным, чем деревенские частушки и прибаутки; в то же время обнаружилось, что мы не умеем сделать свирель, метко стрельнуть из рогатки. Друзья наши вдруг начали стесняться нас, называть барышнями.

Первое огорчение, глубоко поразившее меня, произошло на Пасху. Религиозной, как я уже говорила, наша семья не была, но праздники Рождества и Пасхи у нас праздновались всегда. Самые приготовления доставляли нам уйму радостей. Начинались они за неделю. Пеклись куличи, в огромных макитрах стиралась сырная пасха. Заготовлялось все в больших количествах. Готовилось не только для семьи, но и для рабочих, прислуги. Каждый

рабочий, кроме подарка в виде отреза на платье, или рубахи, шарфа, платка, пояса и т. п., получал свой отдельный кулич, кусок пасхи и пяток крашеных яиц. Яиц накрашивались корзины. Все мы усаживались за столом, где стояли стаканы с разведенной краской. Вареные яички опускались в стаканы и вынимались красные, синие, желтые, зеленые. Когда нам надоедали одноцветные, мы начинали красить половину одной краской, половину другой, или выписывать на яичках узоры, буквы «Х» и «В». Иногда к нам присоединялся папа, он разрисовывал их масляной краской. Только его яички удостоивались названия «писанок». Самые красивые из папиных писанок мама брала и прятала в кивот, где они, высыхая, сохранялись долгие годы.

Весеннее пасхальное утро такое радостное! Мы, нарядно одетые, являемся в столовую, стол уже накрыт. Расставлены куличи, пасха, на большом блюде лежит копченый окорок с узорными бумажками вокруг кости. Крашеные яички разложены по зелени овса, специально выращенного на блюде. Мы получаем подарки, христосуемся, завтракаем, и начинается веселье. Мы катаем яички, бьемся ими друг с другом, выбирая крепкие битки. Единственное условие, которое ставит нам мама, каждый, у кого разобьется яичко, должен его съест. Бросать разбитое яичко нельзя ни в коем случае.

Увы! Яички бьются ежеминутно, а мы сыты по самое горло, и нам уже надоели подарки, на улице такое солнце! Выбрав из корзины самые лучшие битки, проверив их на зуб и набив ими полные карманы, мы спешим на выгон к ребятам.

И мы и они празднично одеты, и мы и они веселы и горды своими битками. Но при первой же

схватке выясняется, что правило игры у них другое. Хозяин разбитого яйца должен отдать его победителю, тому, чей биток оказался крепче. Что возразить против такого правила? Нам оно казалось справедливым. Мой биток при первом столкновении разбит, я очень огорчена, но с радостью отдаю его Петьке. Вытаскиваю из кармана следующий и бьюсь с Сенькой. У него всего одно яйцо, но он гордится и хвалится своим битком. Ура! Мой оказался крепче, Сенькино яйцо разбито. Но что это? Сенькино лицо вытянулось, он сует мне свой разбитый биток, ему больше биться нечем. Я не беру разбитое яйцо, мы все, баричи, окружаем Сеньку и уговариваем, и просим его оставить разбитое яйцо у себя. Но он тверд в соблюдении правил игры, и все деревенские ребята поддерживают его. Тогда я дарю Сене свой биток, а разбитое яйцо сую его двухлетней сестренке. Игра возобновляется, но я уже не решаюсь вступить в бой. Победа отравлена, мне жаль моего битка, я с завистью смотрю на разгоряченные, возбужденные лица ребят, опоражниваю свои карманы, раздаю ребятишкам такие, я верю, хорошие битки и стремительно ухожу домой.

Лето. Милое свободное лето. Яблони гнутся под сочными плодами. Мы подбираем паданки и трясем деревья, чтобы паданок было больше. Мы набиваем карманы сливами, садимся на завалинку у дома и поедаем их. У нас идет игра, кто плюнет дальше косточкой. Мама с завтраками, обедами только докучает нам, мы сыты. Но что это? Мы слышим душераздирающий крик из сада. Опрометью мы кидаемся туда.

Под яблоней лежит, корчится и благим матом орет Гриша Бармаков, а над ним вопит наша Акулина. Мы ничего не понимаем, но мама уже опережает

нас. Вдвоем с Акулиной они поднимают Гришу и несут его в комнаты. Нас гонят прочь. Мы топчемся у входа затихшие, потрясенные. Спешно посылают конюха за родителями Гриши. Приходит его отец, со снятой шапкой он проходит мимо нас в дом, лицо его нахмурено. Что делается там, за дверями? Обратно Бармаков выходит с сыном на руках. Гриша уткнул голову в плечо отца, слышно, как он всхлипывает.

— Благослови вас Бог, барыня, поправится, анафема, я его, окаянного взгрею.

— Утром я зайду его перевязать, — говорит мама, — пусть спокойно лежит и рану не развязывает.

Бармаков уходит, мы налетаем на маму:

— Что случилось?

Оказывается, Акулина застала в саду гурьбу наших деревенских друзей. Гриша залез на дерево и трусил яблоки, остальные внизу подбирали. Все они при виде Акулины шарахнулись в кусты и мигом исчезли. Гриша же, заторопившись, сорвался с ветки, напоролся на сук и вместе с ним свалился на землю. Нам было ужасно жаль Гришу. Мы возмущались Акулиной. Кто просил ее подкарауливать ребят, яблок жалко, что ли? Вот теперь, если Гриша умрет, она будет виновата. Акулина уверяла, что так ему и надо:

— Все яблоки посшибали, ветки переломали.

Вечером за ужином родители обсуждали происшествие. Оба они были хмуры и недовольны. На мой вопрос, будут ли родители Гриши бить его, будут ли крестьяне бить ребят, даже больного Гришу, отец сердито ответил:

— Тех, кто убежал, вряд ли, а вот Гриша лупцовку получит, — воруй, мол, да не попадайся, — и

прибавил, — не сегодня, так завтра вся ватага будет в саду.

Несколько дней мы или вовсе не заходили в сад, или, прежде чем зайти, поднимали дикий крик, чтоб ребята, если они там, успели удрать.

*

В разговорах взрослых я часто слышала «наша земля», «крестьянская земля», «земля ничья», «земля Божья». Мне очень хотелось осмыслить эти слова, но они никак не укладывались у меня в голове. До меня не доходило, что речь шла не о земле, как таковой, а о форме землепользования. Не раз во время прогулок я останавливалась, набирала в пригоршни горсть земли, рассматривала ее и недоуменно пожимала плечами: «Наша земля!» Я ничего не могла себе уяснить, но как-то не по себе мне было.

Бедный мой папа! Как тяжело было ему переживать все то, что не доходило до нас, или скользило, чуть задевая наши души. В лесу порубка. Отец ходит злой. Лесок у нас был маленький, на болоте, заросший кустарником. Печи наши всегда топились хворостом, в хворосте отец никогда не отказывал крестьянам, но годные для стройки деревья он берег.

Крестьяне рассуждали иначе. Не охота с хворостом возиться, да и на оглоблю, на постройку лесина нужна, а рядом лесок господский. Господский, но он же и Божий. Сумей украсть — Бог простит.

*

Четвертым классом заканчивалось низшее образование. В 5 классе нужно было держать переходные экзамены. Они будоражили, утомляли, поэтому особенно радостно, счастливо, свободно, ве-

село чувствовала я себя, подъезжая летом 1913 года к нашей деревне. Возбужденная, вошла я в наш домик. Теперь сбросить с себя городские платья, умыться и в сад.

Весело болтая, переодевались мы с сестрой у себя в комнате. Неожиданно вошла Аксюта. Сперва я даже не узнала ее. Она стала такая большая. В длинной цветастой юбке, такой же рябой кофточке с короткими рукавами, в платочке, уголком повязанном на голове. Свежая, здоровая, улыбающаяся. Ее синие глаза так и лучились нам навстречу, а из-под улыбающихся губ сверкали крепкие, белые, ровные зубы. Какая прелесть! Обе мы бросились к ней навстречу. Аксюта!

— Здравствуйте, барышни, а я вам воды умыться принесла. Здесь вот все приготовлено: и мыло, и полотенце.

Нам было не до умыванья. Мы усадили Аксюту, и началась болтовня о всех деревенских новостях. Я с восторгом смотрела на Аксюту и не скрывала своего восторга перед ее крепким, пышущим здоровьем. Она и сама была довольна собой. Она с удовольствием показывала нам свои полные загорелые руки.

— А вы, барышни, такие худые да бледные, руки-то как палочки тоненькие.

Аксюта была ровесница моей сестры, ей исполнилось пятнадцать лет, цветущая деревенская девушка, отец ей уже и жениха подобрал, кто-то сватался за нее. Аксюта была горда этим:

— Тят сказал, молода, погоди маленько!

О, Боже, мы считали себя еще девочками, а Аксюту уже сватали! Внезапно Аксюта вскочила, спохватилась:

— Умывайтесь, барышни, а я побегу самовар ставить. Вы уж сами себе сольете.

— Конечно, сами, но ты куда, какой самовар?

— Да я, барышни, теперь у вас в услужении, с самой весны барин меня в дом взял.

Аксюта — у нас в услужении! Аксюта — наш друг и товарищ всех наших игр!

Кто-то раньше убирал нашу комнату, мыл полы, выносил помои, случалось стелил наши постели — ничего этого мы не замечали. Делала ли это мама или Акулина, или другая женщина... Все шло само собой, по раз заведенному порядку. Теперь в услужении у нас Аксюта, наша ровесница, наша подруга...

*

Раз в неделю от нас в Сорочин папа посылал лошадь на станцию за почтой. Мы еще не получали писем, но ожидание писем взрослыми настораживало и нас. И мы тоже ожидали возвращения с почты. В один из таких почтовых дней папа, получив с почты письмо, протянул его мне. Недоуменно вертела я в руках конверт. Все интересовались, от кого письмо, но я ускакала с ним в нашу комнату.

Маленький листок бумаги с голубенькой незабудкой в уголке. Прекрасным ровным почерком писала мне Нина Демидова. Я запрыгала от восторга. Мы учились вместе в приготовительном классе, она была одной из первых учениц. Мы дружили. Когда отца Нины перевели куда-то в другой город, мы, расставаясь, поклялись, что будем писать друг другу. Прошли годы, и вот Нина сообщала мне, что она прекрасно учится, что дома у них все благополучно. Не помню, что еще стояло в письме, но закан-

чивалось оно предложением нам вместе помолиться за наш народ и за великого императора нашего.

Я была оскорблена, задета в лучших своих чувствах. Нина стала черносотенкой! Как смела она писать мне такое!

Совершенно не помню ни моего отношения к Николаю II, ни к черной сотне до этого письма. Но эту вспышку помню хорошо.

Сейчас мне захотелось вспомнить о второй моей подруге, и втором, уже вполне сознательном соприкосновении с Николаем II.

Так же как с Ниной, мама советовала мне дружить с Раей. Рая поступила в первый класс, я перешла из старшего приготовительного в первый. Раина мать была ярой социал-демократкой, она часто бывала у моих родителей и часами спорила с отцом. Муж ее, врач-гинеколог, мало интересовался политикой. Жили они вблизи нас. Еще до школы родители сводили нас, детей, пару раз вместе, но дружбы не получилось. В классе отношения наши тоже не налаживались. Может быть, именно поэтому мы сторонились друг друга, что родители твердили нам о дружбе.

Я была старая гимназистка, лентяйка и шалунья, и чувствовала себя в классе, как рыба в воде, участвовала во всех играх и проказах. Рая была новенькая, любила читать, много читала и сразу по развитию и успехам заняла первое место в классе. Ничто не объединяло нас.

Однажды на большой перемене, во дворе во время игры, между нами произошло столкновение. Не помню точно, в чем оно состояло, но обвинили мы друг друга в нарушении правил игры. Спор перешел в драку. Наверное ее начала я, и наверное Рае попало бы, так как я была сильнее, но нас рас-

тащили подруги. Я со своими сторонниками ушла в другой конец двора, Рая осталась в окружении своих друзей. В общем, класс раскололся на две части. Во враждебной нам группе были все лучшие ученицы, и они поклялись нам не подсказывать. Мы действовали хуже, мы выбрасывали из парт их ранцы, прятали их одежду в раздевалках, бросали им вслед презрительные замечания.

Вся гимназия узнала о расколе в первом классе. На уроках класс был возбужден, занятия не шли. Классная дама тщетно старалась примирить нас. Около недели длилась ссора. Не помню, что примирило нас, но за примирением началась дружба, крепкая, горячая, на долгие годы. Мы были разные, но мир осваивали вместе, может быть, наша разность помогла нам.

Мы часто спорили, но в конце концов приходили к общему решению. Спорили, как я уже упоминала, о крещении моего отца, спорили во время войны о варварстве немцев. Я вместе со всеми возмущалась тем, что немцы разрушают памятники старины. Рая утверждала, что смешно говорить о зданиях, когда человек убивает человека. Но в основном, в нашей ненависти к насилию, в нашей любви к свободе мы были едины.

Вместе преклонялись мы перед революционерами, были полны презрения и ненависти к царскому правительству. К этому времени мы уже прочли Степняка-Кравчинского — «Домик на Волге», «Андрей Кожухов», «Подпольная Россия», «Штундист Павел Руденко». С захватывающим интересом читали мы «То, чего не было» Репшина-Савинкова.

Каково же было наше возмущение, когда мы узнали, что в Курск приезжает Николай II и мы, учащиеся, должны встретить его!

В школах началась подготовка. Мужские учебные заведения тренировались ежедневно. Мальчиков заставляли строем маршировать по улицам. Их готовили к параду. Нам, девочкам, большие начитывали всякие проповеди. Кроме того мы должны были уметь строиться по росту и стройно кричать «Ура». Ни на одной репетиции мы с Раей не были. Но когда нам объявили, что мы, гимназистки, будем цепью окаймлять площадь, по которой проедет царь, и будем приветствовать его криками «Ура!», мы приняли другое решение. Да, мы пойдем на площадь, мы станем в цепь, но кричать мы будем «Долой Николая Романова!», чего бы это нам ни стоило! В решение свое мы посвятили двух-трех самых близких подруг.

Я хорошо помню этот тревожный день. К восьми часам утра нам велели явиться в гимназию. Родители пытались удержать нас дома, но мы пошли. Улицы, по которым должен был проехать царь, были оцеплены строем городовых, жандармов и солдат. Штатские стояли шпалерами вдоль улицы по тротуарам. Охрана пропускала только учащихся в форме. В гимназии царило волнение. Передавали, как государь посетил госпиталь с ранеными, как он благословил детей воспитательного дома, встречавших его на вокзале. Мы только крепче сжимали друг другу руки. Наконец, нас вывели на площадь. Царь находился в дворянском собрании и должен был через площадь ехать к дому губернатора. Вся площадь была оцеплена учащимися, стоявшими в два ряда. Вдоль рядов бегали начальники, синявки, инспекторы, то и дело ровняя строй. Время шло, мы устали, нам уже надоело ждать, настроение спало, начались разговоры и болтовня. Наконец откуда-то долетел слух «едет, едет».

Все головы повернулись в ту сторону, откуда должен был ехать царь. Мы еще ничего не видели, но уже слышали пока отдаленный и все нарастающий гул, приближающийся к нам. «Ура» затихало вдали и нарастало, приближаясь. Вот, наконец, показалась машина. Медленно, медленно она шла мимо рядов учащихся. В машине во весь рост стоял царь. В серой солдатской шинели, с обнаженной головой. Фуражку он держал в руке и поводил ею, приветствуя учащихся. Какое знакомое лицо, но гораздо проще, серее и человечнее.

Чем ближе подъезжала машина, тем ближе перекатывалось «ура», как бы сопровождая ее, сливаясь с нею в одно. Вот она уже вплотную подъехала к нам, от нас до машины каких-нибудь два шага, все мы, не отрываясь, смотрим на царя, «ура» катится уже по нашим рядам, вслед машине поворачиваются наши головы. Нам видна уже только спина человека в серой шинели.

Как это могло случиться, как это случилось? Я кричала «ура» вместе со всей толпой, я кричала «ура» Николаю II. Понуря голову, ушла я с площади.

Последние годы гимназии

К тому времени, как я перешла в старшие классы, одна за другой оканчивали гимназию сестры, братья мои и моих подруг. Все они ехали учиться в университетские города. Приезжая домой на каникулы, они привозили с собой новые интересы, запросы и настроения, тогда наши школьные дела отступали на второй план.

Старшая моя сестра училась в Москве на Высших женских курсах. Она была очень способной

девушкой, но первый год на курсах для научных занятий у нее почти пропал. Ее захватила волна общественных событий.

В годовщину смерти Л. Н. Толстого московское студенчество организовало демонстрацию под лозунгом «Долой смертную казнь». Демонстрации разгонялись. Часть юношей и девушек была окружена полицией, загнана в какой-то двор, арестована и препровождена в дом предварительного заключения. Многие из них были избиты нагайками, многие помяты лошадьми. В числе задержанных оказалась и моя сестра. Узнав об ее аресте, мама, бросив нас на Акулину, поспешила в Москву. Папа был вызван из деревни телеграммой. Но переполох был напрасен. Никаких серьезных последствий для большинства молодежи не было. Через месяц почти все они были освобождены и вернулись в университет. Приехав на каникулы, сестра со смехом рассказывала, как в группе задержанных оказались курсистки и студенты, никогда не интересовавшиеся политикой. Девушки в бальных платьях и туфельках, завитые и напомаженные, шедшие с бала со своими кавалерами, захваченные демонстрацией, силой течения толпы, они были занесены в переулок, где их окружили казаки. Они отчаянно плакали в тюрьме, а их родители, люди с положением, подняли шум, и совершенно сбитые с толку следователи притушили все дело, так как разобрать, кто шел с бала, а кто с демонстрации, не было никакой возможности. Все уверяли, что просто возвращались с бала.

В последующие годы сестра вся отдалась своим курсовым занятиям, хотя по настроению, безусловно, принадлежала к передовому студенчеству.

Жизнь моего старшего брата сложилась несколь-

ко иначе. Окончив гимназию, он поехал учиться в Петербург, в Военно-медицинскую академию. Он попал на первый курс как раз в тот год, когда там проходили студенческие волнения. Среди года учащиеся академии узнали, что ряд лучших профессоров удаляется из академии из-за их политической неблагонадежности. Студенты объявили забастовку и выставили требование о возвращении старых профессоров. Все лекции вновь назначенных профессоров срывались. Шли митинги протеста, устраивались обструкции. Правительство ответило арестом отдельных студентов и закрытием академии. Студенчество других учебных заведений поддержало медиков сходками и демонстрациями. Но все же студенчество академии было распущено. Все программы пересмотрены. Учебное заведение передано в военное ведомство, военизировано. Всем студентам было предложено вновь подать прошения о приеме. Студенчество объявило новой академии бойкот. Время шло, правительство не уступало. Постепенно в канцелярию стали поступать заявления студентов о приеме их обратно. В числе подавших заявление был и мой брат Ася. Отец и мать молчали, мне казалось, что они огорчены поступком Аси. Я же была в полном отчаянии. Я боготворила брата и примириться с таким его поступком не могла. Я не хотела его видеть, о нем слышать. На лето брат не приехал домой — по новому статуту академии лето студенты проводили в лагерях. Когда через два года он приехал домой на две недели, в военной форме, красивый и убежденный в своей правоте, я сдалась. Моя любовь к нему победила, но какой-то червячок сомнения грыз сердце.

Аня вовсе не интересовалась политикой. С курсов на каникулы домой она вернулась веселая, наряд-

ная. Ее обласкала мамина сестра Маруся. На Ане был чуть ли не котиковый жакет и лисий горжет. Рассказы ее вертелись вокруг театров, вечеринок, шума столичного города. Во мне они не вызвали большого интереса. Зато брат моей подруги Оли своими рассказами о студенческой жизни, о сходках, землячествах, демонстрациях совершенно вскружил наши головы.

На следующий год мы собирались ехать на курсы. Вольная жизнь высшей школы со светлыми идеалами, свободолюбивыми порывами, протестом против пошлости и подлости повседневной жизни манила нас. Гимназия нам опостылела. Мы рвались из нее. Еще один последний год. Но куда же мы пойдем, куда направим свои стопы. Пора было определить свои стремления и симпатии.

Я училась неважно, склонности к чему-то определенному не имела, разбрасывалась в чтении. Теперь мне приходилось призадуматься. Я знала, что без медали в высшие школы Москвы и Петрограда не попасть. Приходилось приналечь на науки. К отцу я приставала с вопросами о том, куда мне идти учиться дальше. Я не знала еще, кем хочу стать. Пусть отец мне укажет, в каком из университетов самая широкая, всеохватывающая программа. Отец, конечно, расхваливал сельскохозяйственный факультет, там самая широкая программа, там читают и естественные, и экономические, и юридические дисциплины.

Мы рвались из гимназии, мы охотно перескочили бы через этот последний год. А какой он был хороший! За долгие школьные годы нас подобралась дружная компания из четырех девочек. Она так и называлась «квартетик». К ней примыкала группа мальчиков, тоже из четырех человек, и наши сес-

тры. Все вместе мы организовали клуб «бездельников». Заседания клуба происходили по субботам и воскресеньям на квартире одного из членов по очереди. Чего только ни происходило на этих собраниях! Как дети, мы играли в фанты, в шарады, воробья, и тут же обсуждали прочитанные книги, устраивали литературные суды, вели споры о материализме, о равноправии женщин, о революции и эволюции. Мы без конца пели и танцевали.

Помню одно заседание клуба «бездельников», закончившееся большим конфузом. Было решено, что каждый из нас напишет стихотворение и опустит его в ящик, подписаны листки не будут. Лучшее стихотворение получит премию. Не помню, чье стихотворение было премировано, но когда выбор был совершен, Леночка заявила:

— Эх, вы, я переписала стих Шекспира, а вы его забаллотировали!

Когда начинался съезд студентов на каникулы, деятельность клуба приостанавливалась. Мы ходили совсем смятенные, ведь возвращались герои нашей первой любви, к тому же они привозили с собой самые новые, самые дерзновенные мысли и планы. Они уезжали — снова функционировал клуб, на заседаниях его подводились итоги святкам. И спорам, и толкам опять не было конца.

Ребенком я очень мало читала в противоположность Ане, которая просто глотала книги. Для Ани мамой был установлен подбор книг, разрешенных ей для чтения, мне было разрешено читать все, лишь бы я читала. Поэтому дома все были удивлены и рады, когда я вдруг потребовала у отца книгу по политэкономии. Жили мы в деревне. Подходящей книги у отца не было. Он перерыл весь свой шкаф и принес мне «Политэкономия в связи с фи-

нансами» Ходского. Папа был уверен, что я заброшу книгу из-за сухости изложения. Я прочитала ее запоем и не один раз. Так же увлекла меня книга с изложением философии Ницше. Ее я читала зимой в учебное время, и я читала ее, не отрываясь, пока не прочла всю. Три дня я не ходила на уроки в гимназию — я читала. Мама не протестовала: «Катя читает».

Конечно, преувеличением было бы сказать, что я ничего не читала. Всех русских классиков за время учения в гимназии я перечла, я прочла кое-что из переводной литературы, но из всей массы книг, имевшейся у нас дома и прочитанных сестрой, целый ряд так и выпал из моего поля зрения: не были мною прочитаны Герцен, Чернышевский и Бокль «История цивилизации в Англии», книга, которую упорно советовала нам прочитать мама. Только в самые последние годы набросилась я на чтение, но тут уже у меня не хватало времени. Решив во что бы то ни стало получить медаль, открывающую мне дорогу на курсы, я вынуждена была налечь на занятия.

Газеты мы, молодежь, почти не читали. Мы знали, что выходят газеты разных направлений: от самых черносотенных, вроде «Курской... (пропуск. — Ред.), органа Маркова-второго, до либеральных «Русское слово», «Русские ведомости» и т. д.

Отец выписывал целый ряд газет. Вечерами в деревне или во время своего приезда в город он часто за вечерним чаем читал их маме вслух, обсуждая и комментируя. В нашей семье и в Раиной, когда собирались взрослые, мы слушали их разговоры о происходящих событиях, мы были в курсе общественной жизни, не читая газет. Не влекли нас буржуазные газеты — нам хотелось нелегальщины.

Достать ее в Курске мы не могли, но мы знали о ней из рассказов наших друзей-студентов и тянулись к студенческой жизни.

За гимназическим порогом начиналось вступление в жизнь. Нам мечталось это очень абстрактно в виде борьбы за счастье и справедливость — «Иди к униженным, иди к обиженным, по их стопам...» Мы читали «Буревестник» — Горького, декламировали «Каменщик, каменщик в фартуке белом...», «Лес рубят, молодой, нежнозеленый лес...» Мы пели студенческие песни — «Гаудеамус», «Варшавянку», «Смело, друзья, не теряйте...» и другие.

Мы рвались из гимназии. Зато и отпраздновали же мы наш выпуск! Получив аттестаты, прямо из гимназии почти всем классом отправились мы в ресторан-кафе, куда был закрыт вход учащимся. Мы заняли все до единого столика, но этого оказалось мало нашему стремлению нарушить все каноны жизни и оповестить всех, что мы начинаем жить, что мы вырвались из гимназических цепей!

В Курске по двум главным улицам из конца в конец города проходила трамвайная линия. Двигался курский трамвай очень медленно, насчитывал всего пять или шесть вагончиков и курсировал от Московских ворот до Херсонских. Ворота эти были когда-то поставлены курским дворянством в честь приезда государя. Увлекая по дороге всех окончивших с нами гимназию, дошли мы до Московских ворот и стали толпой. Все подходившие вагоны заполняли мы, учащиеся. Раз пять прокатились мы от ворот до ворот, не вылезая и лишая возможности остальную публику сесть в вагон. Мы прощались с гимназией, подругами, учителями, с которыми хорошо ли, плохо ли прожили восемь лет.

2. СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ. РЕВОЛЮЦИЯ

В Петрограде

Мечты наши осуществились осенью 1916 года. Мы были приняты на курсы, Оля и я — в Сельскохозяйственный институт им. Пр. Стебута в Петрограде, Лена — на математическое отделение Бестужевских курсов. Огорчило нас то, что Рая, из-за процентной нормы для евреев в столичных городах, поступила в Харьков на медицинский факультет. Впервые разлучились мы, впервые должны были начать самостоятельную жизнь, вырвавшись из-под родительского крова. Аня ехала с нами в Петроград на 2 курс исторического факультета. Оля и я решили поселиться вместе. Немного огорчало нас то, что вслед за Олей собиралась ехать Олина мать с младшей дочерью Соней. Нам было поручено снять квартиру из двух комнат: одну комнату для нас троих, вторую — для Олиной мамы и ее сестры. Огорчило нас и то, что Олин брат Жорж, студент Петроградского университета, не жил в Петрограде — он был на фронте, и все мечты о том, как он покажет нам город, не сбывались. Мы, правда, везли с собой его инструкцию о том, что мы должны смотреть в первую очередь. Сам он обещал приехать в отпуск в октябре и побродить тогда с нами по городу. Он дал нам адрес своей квартирной хозяйки, где мы могли остановиться на первое время.

Материальная сторона жизни не тревожила нас. Мама с папой обещали высылать нам с Аней по 25

рублей в месяц каждой. Олины родители были люди хорошо обеспеченные, Леночка ехала в семью своей матери.

Сутки, проведенные в вагоне, были преддверием новой жизни. Питер ошеломил нас с первых шагов, с вокзала. Мы не выезжали из Курска, не видели ни одного большого города. Пока извозчик вез нас с Московского вокзала до Васильевского острова, мы жадно смотрели на стройные серые здания, на одетые в гранит берега Невы, на изумительные мосты, нависшие над нею.

Хозяйка квартиры встретила нас приветливо, но комнату она могла предоставить нам только на две недели и нам сразу же нужно было приступать к поиску квартиры. Целыми днями бродили мы по улицам Петрограда, высматривая на подъездах розовые билетики, извещающие прохожих о том, что в доме сдается квартира. Ничего подходящего мы не находили. Приближалось время начала занятий, оканчивался срок квартиры, предоставленный нам хозяйкой, близился приезд Олиной мамы, — но мы не унывали. Однажды нам подвернулась чудесная квартира, владельцы сдавали ее по сходной цене. Мы с Олей сняли бы ее, но Аня встала на дыбы:

— Вы сумасшедшие! Это не жилье, а магазин! Дверь в помещение прямо с улицы, не окна, а настоящие витрины, посередине перегородка, не доходящая до потолка и до противоположных стен, перед ней нечто, напоминающее прилавок. Ни кроватей, ни стола, ни стульев. За перегородкой — темнота.

С шутками и смехом хотели мы взять эту квартиру, с шутками и смехом отказались от нее. В тот же день мы нашли, наконец, подходящую квартиру. В двух небольших комнатах стояли три кровати,

два стола, один табурет и пианино. Оля играла на рояле и очень любила музыку. Вопрос был решен.

Нам пора было посетить курсы. С трепетом, с захватывающим интересом шли мы с Олей 1 сентября на Выборгскую сторону. Мы долго блуждали по улицам, не находя нужного переулка. Наконец, нам показали большое серое здание. Обычные входные двери. Широкая площадка, широкая лестница на второй этаж. Ни души. Оглядываясь по сторонам, мы подошли к одной из дверей. На ней белая бумага, приколотая кнопками — «Лавочка закрыта». Недоуменно переглянулись мы. Какая лавочка? Почему лавочка? Куда нам теперь деваться? За нашими плечами хлопнула входная дверь. Две девушки переступили порог ее. Я крикнула навстречу им злым голосом:

— Не ходите, лавочка закрыта.

— Нет, это вы не уходите, товарищи, — ответили приветливые звонкие голоса, — мы ее сейчас откроем.

Какой музыкой прозвучало мне это обращение «товарищи». Мы с Олей товарищи этих замечательных девушек!

Все оказалось очень просто. Мы стояли у дверей студенческой лавочки. Эти девушки работали в ней. Они пришли открывать ее, но, так как кроме нас никого не было, они принялись посвящать нас во все подробности студенческой жизни. Лекции начнутся с 5 числа. Канцелярия открыта, вход в нее со двора. Студенческая столовая — выше по ступенькам. Расписание лекций вывешено в канцелярии. Там же объявление о том, что общее собрание слушательниц I курса состоится послезавтра в 7 часов вечера, а старостат своего курса мы будем выбирать через месяц, когда познакомимся друг с

другом. Одна из девушек была членом студенческого старостата. Она расспросила, когда мы приехали, откуда, где остановились. Тут я поняла, что мы потеряли массу времени, болтаясь одни по Петрограду. Приехав, нам нужно было тут же идти на курсы. Там дежурные по старостату встречали приезжих, помогали с приисканием жилья, обеспечивали ночевками. В студенческой столовой курсистки знакомились друг с другом, закреплялись по своим землячествам, экскурсиями ходили по Петрограду, с ночи становились в очередь за билетами в театры. Варясь в собственном соку, мы многое упустили, надо было наверстывать.

В студенческой столовой народу немного. Обслуживалась она курсистками, нуждавшимися в работе. Спустившись в столовую, мы сперва попали в раздевалку. При входе во второе помещение было расположено окошечко кассы. Рядом доска, на которой мелом написано меню:

Суп картофельный — 3 коп.
Котлеты картофельные — 5 коп.
Щи мясные — 7 коп.
Котлеты мясные — 8 коп.

От кассы надо было идти к противоположной стене, в которой было прорезано окошко в кухню. Зесь курсистки получали заказанные блюда. Вдоль всего помещения стояли длинные столы и скамьи. Столы были покрыты клеенками, на них стояли тарелки с нарезанным хлебом, солонки с солью, баночки с горчицей. В углу, ближе к раздевалке, стоял умывальник, висело полотенце. В другом углу, на скамье стояли два бака — один с холодной кипяченой водой, другой с горячим заваренным чаем. Мы

с Олей были поражены дешевизной обедов и величиной порций. В вегетарианской столовой, где мы обычно обедали, обед стоил 25 коп. Так разве наешься! Наш первый студенческий обед показался нам и вкусным и сытным. В столовой мы встретились с первокурсницами, нашими будущими товарищами.

Студенческая жизнь началась. С утра мы шли на курсы и проводили там целый день. Утром лекции: зоология, ботаника, физика, химия, государственное право, политэкономия и другие. Вечером проводились практические занятия. Наряду с учебой шла курсовая жизнь. Студенчество объединялось в землячествах, в различных кружках. Руководил всем старостат, состоявший из представителей, избранных каждым курсом. Он руководил и столовой, и библиотекой, и лавочкой. Он устраивал вечера и вечеринки в пользу неимущих студентов, организовывал приватные лекции, диспуты. Через какой-нибудь месяц, в числе еще пяти девушек, я была выбрана от своего курса в старостат. Жизнь закружила нас так, что мы не успевали ни в чем — ни в занятиях, ни в серьезном освоении возникавших перед нами вопросов. Времени нам не хватало. А тут еще Аня трубила мне в уши:

— Надо пойти к родным. Ведь ты обещала маме пойти к тете Марусе.

Родных в Петрограде у нас было очень много. У маминого брата, дяди Феди, мы с Аней бывали изредка. Дядю Федю и тетю Веру я знала с детских лет и очень любила. У них было просто и хорошо, они были свои. Но я обещала маме пойти к ее сестре, тете Марусе, жене Николая Сергеевича Крашенникова. Крашенниковых было два. Илья Сергеевич — дядя Илья и Николай Сергеевич — дядя

Коля. Это были мамины двоюродные братья. Мамино детство прошло с ними. Потом Николай Сергеевич женился на маминой сестре, тете Марусе. Дядю Илью я знала, он изредка бывал у нас в Сорочине. Его я любила, да его любили все, — за доброту, за справедливость, за сердечное отношение к людям. Все, начиная от сотрудников по работе, до наших сорочинских крестьян. Высокий, представительный, красивый, благородный, он так же, как и дядя Коля, был сенатором, но кроме этого ничего общего между ними не было.

Николай Сергеевич Крашенников, маленький, тщедушный, некрасивый, злой и ехидный, не был любим никем, кроме ближайших родственников. Да и те в его защиту выдвигали глубокую принципиальность, последовательность, честность, идейность. Был он председателем судебной палаты, глубоко верующим, преданным царствующему дому человеком, был последовательным и убежденным монархистом. Все крупнейшие политические процессы проводил он. Проводимые им процессы отличались суровостью и жестокостью приговора. В свое время было совершено покушение на его жизнь. Ему было нанесено ранение кинжалом в область гортани. Тогда он выжил. Мама умоляла меня: «Ты пойдешь не к нему, ты пойдешь к моей сестре. Кроме того, Николай Сергеевич человек убежденный. Это идейный противник, идейных противников знать не мешает». Что ж, я обещала маме, и я пошла. Я шла в черной косоворотке, со студенческими пуговицами, с запасом революционных настроений в душе. Аня, очень полюбившая тетю Марусю, всячески хотела подкупить меня. Она говорила, что тетя очень хочет меня видеть, что Петя, сын тети, сказал, что

у меня красивая и благородная внешность. Ничто не помогло, я шла с плотно стиснутыми зубами.

Дверь нам отворил лакей. Это был первый и последний лакей, которого я видела в своей жизни. Здороваясь, я подала ему руку, но он не принял моей руки, а ловким движением принял Анино пальто.

— Свое я уж как-нибудь повешу сама, — сказала я.

Не знаю, понравилась ли бы мне при других условиях квартира тети Маруси, но тогда я нашла ее ужасной. Первая комната, в которую нас провел лакей, была завешена, заставлена, загорожена. Роскошные портьеры, роскошные занавеси, картины, диваны и диванчики, кресла, стульчики, столики, пуфики, этажерочки, черт знает, что там еще было, но через все это надо было не идти, а пробираться.

О нашем приходе было доложено тете, и нас попросили пройти в столовую. Тетя сидела уже за столом. Очень тепло и сердечно встретила она нас, спрашивая о маме, о Курске, об устройстве здесь. Она усадила нас с собой за стол. Почти сейчас же вышел и дядя Коля. Маленький, щупленький, с козлиной бородкой. Таким я его себе и представляла.

Лакей обносил нас блюдами. Разговор не клеился. Я демонстративно говорила резкости. Дядя иронизировал. Сменялись яства. Уйма тарелочек, вилочек, ножичков. Что чем есть? На последнем подносе, принесенном бесстрастным лакеем, стояли четыре чашечки с водой. Одну он поставил передо мной. Что надо с ней делать? Выпить? Я выпила. Аня к своей не притронулась. Тетя и дядя пополоскали концы пальцев и вытерли их о салфетки. С меня было достаточно... На обратном пути домой сестра

объявила мне, что я — дура, что если пришла в дом, то должна держать себя прилично. Я ответила, что ноги моей больше там не будет.



На нашем первом студенческом вечере в пользу несостоятельных студентов мы с Олей веселились до упаду. Познакомились мы с двумя студентами-путейцами. Оля весь вечер танцевала с одним, я — с другим. Домой они провожали нас почти через весь Петроград. С Выборгской стороны на Петроградскую шли мы ночью, дурачась, играя в снежки, залезая на ограды мостов и прыгая с них. Было отчаянно весело. Про моего нового знакомого я знала только, что он студент-путеец, и что зовут его Нил. На той же неделе Нил явился к нам в гости. Он был одет не в студенческую форму, а в шикарный штатский костюм. Ногти на его руках были отточены и отполированы. На одном пальце сверкало кольцо. За нашим пианино, аккомпанируя себе, он мелодекламировал, преимущественно Вертинского.

Нил стал встречать меня на улице, часто заходил к нам домой. Олина мама встречала его приветливо. Аня скулила надо мной, что у меня поклонник — белоподкладочник. Я злилась, но не умела отшить Нила.

Протестуя против Вертинского, против отточенных ногтей и перстней, мы с друзьями брели в извозчичьи чайные, в пивнушки, в Народный дом, на народные гулянья. Все спутывалось в один клубок — споры, занятия, толки о газетных сообщениях, сходки и собрания, «Общество бесплатной езды на трамваях».

Нам с Олей до курсов было идти часа полтора, не

меньше. На трамвай уходила уйма денег. Как-то раз, дурачась, мы решили не брать билетов. Но не могли же мы присваивать себе деньги, не заплаченные за билет, и было решено: деньги, съэкономленные на трамвайных проездах, поступают в общую кассу, в фонд «Лоби-Тоби» — любимых нами, очень дорогих конфет. Общество насчитывало восемь членов. Увы, все это была студенческая молодежь. Когда в нашей кассе набралась достаточная сумма, мы отправились за конфетами. Олина мама просила принять и ее в наше общество, обязуясь вносить каждый раз половину накопленной нами суммы, не брать билетов в трамваях она не рисковала. Но мы твердо стояли на соблюдении правил общества. В лучшей кондитерской на Невском покупателям предоставлялось право при покупке конфет пробовать различные сорта. Мы шли в эту кондитерскую и покупали «Лоби-Тоби», лишь напробовавшись всласть других конфет. Таков был закон общества.

Лекции мы посещали аккуратно, мы посещали все практические занятия. Профессор Аверинцев прекрасно читал зоологию, мы любили лекции по физике, но излюбленными моими лекциями были лекции по государственному праву, лекции же по математике и геодезии я не любила. Сильно запустила я практические занятия по черчению. Я была захвачена общественной жизнью курсов. Собрания старостата сменялись собраниями кружков и землячества. Студенчество в те годы не было едино. Резко выкристаллизовывались две группы: левое студенчество, с одной стороны, правое-реакционное, с другой. Между нами шаталась более или менее инертная масса. Право-настроенное студенчество, состоявшее из сынков и дочек привилегированных родителей, носившее название «белоподкладочни-

ков», за изысканность туалетов, было в меньшинстве. В общественной жизни курсов оно участия не принимало, не участвовало в кружках, кроме увеселительных, не посещало сходок и собраний, если на них не ставился какой-нибудь существенный вопрос. Левое студенчество, напротив, было самой активной группой. Оно руководило общественной жизнью курса. Старостат наш сплошь состоял из лево-настроенных студентов. И в столовой, и в землячествах, и в кружках господствовали левые настроения.

Мы, первокурсницы, конечно, только знакомились с курсовой жизнью, с ее организацией, мы не имели представления о том, что студенческие организации через отдельных своих членов связаны с нелегальными организациями. Нас просвещали, и мы глотали сведения: о расколе во II Интернационале, о съезде в Циммервальде, о конференции в Кинтале и Кинтальском манифесте. К 1916 году, собственно, почти вся русская интеллигенция, до кадетов включительно, относилась резко отрицательно к царскому правительству. Неудачно проводимая война, хищения, разруха в снабжении армии, разруха в производстве, слухи о предательстве, об изменах обсуждались повсюду. История с Распутиным вскрыла раскол в самых высших кругах. Номер «Биржевки» с фельетоном, невинным по содержанию, но говорящем об истинном положении в стране, если читать акростихом первую букву каждого слова, ходил по рукам и читался нарасхват.

События захватили нас, собственно, я должна говорить, меня. Сестра не интересовалась политикой. Оля больше была моей спутницей. Очаровательно веселая, она легко шагала по жизни, а ко мне была очень привязана. В своей семье она очень любила

и ценила своего брата Жоржа, а тот, увлеченный в то время мной, натрубил ей о всяких моих достоинствах. Жорж был странный и незаурядный человек. Оторвавшись от своей, в общем, купеческой семьи, он не нашел твердой дороги. Был он года на три старше нас. Учась на юридическом факультете, был он одним из одаренных студентов. Он был горячим поклонником профессора Петражицкого и без конца излагал мне его учение о праве, о нормах морали. Жорж был страстный почитатель искусства, мог часами говорить об архитектуре, живописи, литературе различных исторических эпох. Он увлекался мистицизмом. В 1915 году, поддавшись одному из своих нравственных велений, отнюдь не увлекаясь войной и не пылая патриотизмом, он ушел на фронт добровольцем. Комично было его прощание со мной. Он относился ко мне очень бережно. Уезжая на фронт, он осенил меня крестным знамением и поцеловал в лоб. Это наше прощание подсмотрела Акулина. Она истолковала его по-своему и долго хранила в тайне. Но когда я стала получать с фронта бесконечные письма, она не выдержала и рассказала о моем прощании с Жоржем отцу, советуя ему не отдавать мне письма или посмотреть, что непутевый барчук мне пишет. Папа позвал меня к себе. Я совершенно опешила, когда серьезно вглядываясь в мое лицо, отец спросил:

— Катя, подумай и скажи серьезно — ты любишь этого Жоржа?

— Папа, что ты, я — Жоржа!

— Я не хочу вмешиваться в твою жизнь...

Я не дала отцу договорить. Мне было смешно. О каких чувствах мог говорить папа. Мне льстило немного отношение Жоржа, увлечение мною взросло-

го студента. Папу все это не устраивало. Серьезно и спокойно он сказал мне:

— Дай мне слово, что ты не выйдешь за него замуж.

Папа говорил так серьезно, что я перестала смеяться и так серьезно ответила:

— Папа, даю тебе слово, я никогда не выйду за него замуж.

В конце ноября к нам в Петроград приехал Жорж. Это был первый человек, который воочию видел войну и который не жалел слов, не жалел красок. Он ненавидел войну, ненавидел командование и терпимо относился к врагам. Был он вольноопределяющимся — рядовым. Вся картина ужаса войны, развала, разрухи, предательства встала перед нами. Одно в рассказах Жоржа не убеждало, а пугало меня. Нет, он не стал антисемитом, но он говорил о трусости евреев, о их подхалимстве перед начальством и даже предательстве. Этому я не хотела верить. Но мы еще крепче возненавидели войну, а предателями считали верховное командование и промышленников, наживавшихся на войне, и, в первую голову, — царствующий дом Романовых.

Рождественские каникулы промелькнули мгновенно. Дома после самостоятельной жизни мы чувствовали себя повзрослевшими. Все надо было рассказать маме, отцу, но главным была моя встреча с Раей. Ее харьковские и мои петроградские впечатления в общем совпадали, но к стыду своему я должна сказать, что Рая гораздо больше успела в смысле учебы.

В эти студенческие каникулы мы уже не встречали студентов, не глядели на них подобострастно. Мы сами были студентами. Мы сами должны были принимать участие в традиционном студенческом

вечере, устраиваемом ежегодно в пользу неимущих студентов. В этом, 1916 году, студенчество решило посвятить вечер не только сбору средств, не ограничиваться любой пьесой и танцами, а придать ему идейный характер. Не помню, какую бичующую буржуазный быт пьесу мы ставили, но наш студенческий хор должен был петь направленные студенческие песни. Декламаторы должны были читать «Песню о соколе» и «Буревестник». Конечно, мы были связаны определенными цензурными рамками. На организацию вечера испрашивалось разрешение губернатора, должно было быть выдвинуто лицо, отвечающее за программу и проведение вечера. В этом нам помог отец Оли Коротков. Купец, городской голова, он представлял достаточно уважаемую в городе фигуру.

Странный это был человек. По большей части мы видели его или пьяным, или подвыпившим. Был он плохой семьянин, неудачный муж, но честный и добрый человек. Жизнью семьи ведала в основном его жена, очень энергичная, умная и предприимчивая женщина. В их доме мы особенно любили собираться. Отсутствие семейного уклада, какая-то свобода прельщала нас. В этот дом мы могли прийти, когда хотели, и делать, что хотели; огромная квартира была всегда в нашем распоряжении. Мать изредка заходила к нам, отец почти никогда не был дома, а если был и выходил к нам, то молча подсаживался, иногда подтягивал за нами студенческие песни, вместе с нами подшучивал над городской думой, главой которой был, и над правыми города, и над властями, и над нами. Он-то и согласился помочь нам, взяв на себя ответственность за организацию вечера перед губернатором.

Вечер прошел, с нашей точки зрения, прекрасно.

Сбор был, как всегда, хороший, нам было торжественно и очень весело. Неприятность пришла неожиданно. Почему-то внимание губернатора сосредоточилось на песенке, которую наш хор спел на «бис» — «У попа была собака». Мы эту песенку часто напевали. Дружными аплодисментами она была встречена и на вечере. «Это кощунство, — кричал губернатор, — публичное издевательство над священнослужителями!» Если бы не находчивость Короткова, могла бы быть неприятность, но он заверил губернатора, что песенку он понял неправильно, что по-французски «папа» — отец, песенка сложена про него — отца города. У него действительно была такая история с собакой, но он не в претензии на молодежь — «пусть себе веселится, лишь бы политикой не занималась». Губернатор покачал головой, посомневался, сказал, что хоронить собаку как-то неудобно, но на этом дело и кончилось.

Я вспоминаю этот маленький эпизод потому, что буду вспоминать в дальнейшем о Короткове и его судьбе в совсем иных обстоятельствах.

Я уже говорила, что в беседах с Раей я остро ощутила, что слишком много жила студенческой жизнью и слишком мало училась. Обратно в Петроград я ехала с твердым намерением взяться за учебу — грызть гранит науки! Решение было благое, но действительность была против него. В Петрограде жизнь захлестнула нас.

Терпение народа иссякло. Война была ненавистна. Разруха и голод надвигались на город. Одно за другим закрывались предприятия, урезывалась зарплата рабочих, в магазинах не хватало продуктов. Не хватало и хлеба. На 9 января подготовлялась забастовка рабочих. Студенчество активно их под-

держивало. Во всех высших учебных заведениях по аудиториям проходили собрания и сходки. Я, как и другие старосты, не только не училась сама, но срывала занятия и лекции других. Профессура наша в большинстве своем поддерживала студентов. Только откроешь дверь и скажешь, что лекция прекращается по такому-то мотиву, что студенты приглашаются на сходку в такую-то аудиторию, как профессор первый складывал свой портфель и спускался с кафедры. Были, конечно, и такие профессора, которые читали лекции и при пустых аудиториях, так же, как были студенты, демонстративно желавшие слушать лекции. И тех, и других мы игнорировали, ненавидя первых и презирая последних.

Через свои организации студенчество было связано с рабочими и партийными организациями. Наши курсы помещались на Выборгской стороне. По студенческой линии мы теснее всего были связаны с военно-медицинской академией, по рабочей — с путиловцами.

Тот кружок, к которому примыкала я, был связан какими-то путями с партией социалистов-революционеров. Возглавляла наш кружок курсистка последнего курса, высокая, стройная, огненно-рыжая грузинка. Страстные речи говорила она, обращаясь к нам. Она горела вся, и мы горели вместе с ней от ненависти к самодержавию, эксплуататорам-капиталистам.

Как птицы разлетались тогда вести о каждом новом событии. В числе военнопленных, шедших этапом через один из сибирских городов, оказался Отто Бауэр. Его узнали тут же на улице, ему устроили овацию. Как мы горевали, что нас не было там, что мы не могли приветствовать вождя австрийских

социал-демократов. Лена, приезжая к нам, рассказала, что происходит у них на Бестужевских. Бестужевские курсы были значительно больше наших, и мы с Олей бежали туда на их сходки и собрания. Мы чувствовали, что назревают события. Нас готовили к большой женской демонстрации, назначенной на 23 февраля — «международный женский день». С неясными для нас самих поручениями бегали мы по фабрикам и заводам. Труднее всего было вести работу среди студентов-путейцев. Там, в основном, студенчество было реакционное.

Февральская революция

18 февраля забастовали рабочие Путиловского завода, и забастовка ширилась. 22 февраля забастовали почти все крупные заводы Петрограда. На 23 была назначена забастовка наших женских курсов, забастовка и демонстрация. Революционные события обогнали наши ожидания. Утром 22 февраля, когда мы еще лежали в постелях, Олина мать, ушедшая из дому достать хлеба, вернулась взволнованная. Магазины закрыты, трамваи не ходят. На улицах — толпы народа. Кто-то стреляет. Я и Оля кубарем скатились с постелей, быстро оделись и под отчаянные уговоры ее матери помчались на курсы. Город кишел людьми. Народ толпился под какими-то воззваниями, расклеенными на стенах домов и заборах. Полицейские пытались разогнать толпы, срывали воззвания. Чем дальше мы шли, тем больше становились толпы людей. До курсов мы не дошли. Мосты были оцеплены полицией. Перед их густой цепью теснились толпы. Относимые движением людей то в одну, то в другую сто-

рону, мы пытались пробраться к другому мосту. И он был оцеплен. По Кронверкскому проспекту навстречу нам двигалась толпа демонстрантов. Над толпой на шесте колыхалось красное знамя. Вдруг, рядом с нами из переулка вынырнул отряд казаков. Рысью, в черных папахах и развевающихся черных бурках, с высоко поднятыми нагайками неслись они прямо на толпу демонстрантов. Кроме глаз, прикованных к казачьему отряду, во мне не осталось ничего. «Сейчас, вот сейчас это случится! На моих глазах опустят они свои нагайки на людей, будут топтать их копытами коней...» И отряд казаков врезался в толпу. Толпа прижалась к домам. «Ура!» Такого «Ура» я никогда не слышала ни раньше, ни позже. Сдерживая коней, с поднятыми нагайками пронеслись казаки сквозь толпу. Демонстранты приветствовали их криками, срываемыми с голов шапками. Проскакав сквозь толпу, казаки скрылись. Демонстранты вновь сомкнутыми рядами двигались нам навстречу. Толпа, в которой находилась я, застывшая и замершая в одном порыве страха, не сразу поняла, что произошло на наших глазах. Но когда до нашего сознания дошло, что казаки не опустили нагайки, что казаки отказались разгонять народ, люди ошалели. Одни плакали, другие целовались с соседями. «Ура» — кричали мы навстречу демонстрантам. Наша толпа присоединилась к демонстрантам. Демонстрация росла и ширилась. Революция! Что бы это могло быть еще! Революция! И она победит! Даже казаки с народом!

В первый день восстания мы с Олей так и не добрались до наших курсов. Весь день мы ходили с толпами народа по улицам, не зная, куда мы идем и зачем мы идем. Громкими криками приветствовали мы солдат, примкнувших к народу. Мы кричали

«Долой!» перед горящими домами полицейских участков. Где-то в отдалении слышалась пальба. Кое-где стреляли по народу засевшие на чердаках охранники. Я была счастлива. Мне везло. За все дни Февральской революции я не видела ни одного убитого, ни одной зверской расправы. В моих глазах Февральская революция была бескровной.

Вечером в нашей комнате шли нескончаемые споры о борьбе и революции.

— А если ты узнаешь, что переодетый жандарм прячется в нашей квартире, ты донесешь? — наступала на меня Аня.

Не задумываясь, я отвечала:

— Сейчас же донесу, но это не донос, это борьба, защита народных прав, защита побеждающей революции.

В том, что революция побеждает, я не сомневалась. Когда мы смотрели на пылающие архивы охранок и суда, подавленная величием картины пожара, я все же сокрушалась, что жгут архивы. Мне объяснили, что жгут их не только из ненависти, но и во имя революции, на случай поражения. Я отрицательно качала головой и смеялась над маловерами.

На следующий день мы с Олей решили во что бы то ни стало пробиться на курсы. Мы не хотели глазеть на революцию, мы хотели ее делать. Как делать, что делать? Указания я могла получить у себя на курсах. Пробираясь с Петроградской стороны к Финляндскому вокзалу, мы видели те же толпы восставшего народа, кое-где уже брошенные, уже ненужные баррикады, застывшие, а то и заваленные вагоны трамваев. Новыми казались грузовики, груженые хлебом, их везли солдаты из сво-

их казарменных пекарен. Они останавливались у хлебных очередей и раздавали хлеб женщинам.

Ожидания не обманули меня. На Стебутовских курсах жизнь кипела. Люди валились с ног от усталости. Грузинка, очаровавшая меня в первые дни курсовой жизни, сказала:

— Работы сейчас у нас две: в медпункт — санитарками или в столовую — кормить людей.

Заведующая столовой не дала нам выбирать:

— Ко мне. Девчата с ног сбились. Нужны сменщицы.

Вслед за ней, мы с Олей пошли в нашу столовую. Столовая в это время была пуста. Столы стояли без скатертей, голые. Пол был затоптан, забросан окурками, недокуренными цигарками. Мы хотели было заняться уборкой, но Валя крикнула:

— Некогда, товарищи, печи гаснут!

Пока мы таскали дрова и подкладывали их в печь, столовая наполнилась солдатами и рабочими. Прямо к стенкам прислоняли они ружья, растирали замерзшие руки, возбужденно говорили, смеялись, а мы забегали с мисками и тарелками, полными манной кашей. С утра до вечера разносили мы ее голодным и замерзшим мужчинам. Других продуктов в столовой уже не было. Чай, каша, горчица в неограниченном количестве.

Часто к нашей столовой подкатывали грузовики, полные людей. Каждым из них вместо командира руководил студент Военно-медицинской академии. В эти первые дни медики заменяли и офицеров, и врачей.

— Кормите людей, товарищи, — говорили они нам, — главное, горячее. Что ни есть, только горячее!

Над Петроградом стояли ясные и очень морозные

дни и ночи. Фибрики и заводы не работали. Вечная пелена дыма, окутывающая обычно город, рассеялась. Днями небо было такое синее, ночами без электричества такое темное, звездное. Пять дней бессменно разносили мы манную кашу, таскали дрова, топили печи. О том, что творится в городе, мы узнавали от бойцов, питавшихся у нас. Первые дни число людей, обслуживавших нашу столовую, было ничтожно. Ото дня ко дню оно росло, и я решила, что здесь обойдутся без меня, и обратилась в курсовой революционный комитет с просьбой направить меня на другую работу.

— Таврический дворец просит помочь людьми, — сказали мне там,-берите пропуск и идите в распоряжение комендатуры Таврического дворца.

Петроград жил тревожной, как котел кипящей жизнью. Одним из мест сосредоточения чаяний, надежд, требований и демонстраций был Таврический дворец. Возбужденные и радостные шли мы с Олей по улицам Петрограда. Я не удосужилась побывать еще на Таврической площади. Думы последних созывов нас мало привлекали, но теперь мы проникли в его исторические залы. Площадь была полна народа. У самого входа с грузовика, как было тогда принято, оратор произносил речь. Мы с Олей, совершенно зачахшие в столовой над манными кашами, слушали его, затаив дыхание. Одного оратора сменял другой. В другом углу площади, с другого грузовика, держал речь еще кто-то. Протиснувшись через толпу, мы по выданным нам пропускам прошли к коменданту Таврического дворца. Меня он усадил за столик у дверей, ведущих в кабинет Керенского. Я должна была проверять пропуска, что-

бы бесцельно бродящие по дворцу граждане не срывали идущую за дверями работу.

Скучно было сидеть за этим столиком. В соседних залах шумела и ликовала революция, произносились речи, велись ожесточенные споры, а здесь была тишина. Мимо меня проходили люди с портфелями и без портфелей, я слышала обрывки фраз, иногда спокойные, иногда возбужденные. Мне казалось, что мое пребывание здесь вовсе не нужно. Может быть поэтому, когда через мои руки стали проходить изысканные продукты питания для Керенского, самое имя которого произносилось с каким-то трепетом, терпение мое лопнуло. Я не слушала никаких доводов о том, что при круглосуточной и напряженной работе Керенскому необходимо легкое, калорийное питание. Посмеиваясь, комендант предложил мне другую работу:

— Есть такая, с которой все бегут, а работа, необходимая: в нижнем этаже для столовой резать хлеб, там питаются наши войска.

С утра до вечера до мозолей на руках резала я хлеб, буханку за буханкой. Ночью пробирались мы с Олей пустынными улицами домой на Петроградскую сторону. Ходить ночью не разрешалось, но у нас были пропуска, и патрулей мы не опасались. Жизнь в те дни была сумбурной, и можно было опасаться всего. Однажды у меня пропала в Таврическом дворце шапка. Морозы стояли очень крепкие, но смутил нас не холод: нам казалось, что женщина, шагающая в такой мороз без шапки, будет привлекать внимание, покажется подозрительной. Оля надела мне на голову свою горжетку. Как папаха без донышка окаймила она мою голову. Последнее не смущало нас. В темноте, мы были уверены, никто ничего не заметит.

Время было тревожное. Вслед за свержением власти расшатываться стали все устои. Часто, возвращаясь домой, мы слышали от Олиной мамы: как опасно ходить по улицам, как она в куче с другими прохожими переползала мосты, потому что с каких-то перекрестков стреляли. Мы только смеялись, представляя Анну Васильевну, ползущей по мосту.

Все расшатывалось и все организовывалось. Возникали союзы, комитеты, товарищества. Организовывались даже воры, я сама читала объявление о том, что в таком-то часу, под таким-то мостом созывается организационное собрание карманных воров. По всему городу шли организуемые, или стихийно возникающие митинги. Речи произносились с грузовиков, с балконов, с подъемов и пьедесталов памятников. Волнующие вести сменяли одна другую. Революцию Петрограда поддержала Москва. Родзянко сформировал правительство. Николай II отрекся от престола в пользу Михаила. Михаил, в свою очередь, также отрекся. Организовывались партии, советы местных, рабочих депутатов. Возникали все более сложные проблемы и вопросы, разгорались страсти. Но нам, неискушенной молодежи, казалось, что больших противоречий среди рабочего движения нет, так как мы соглашались с тем оратором, которого слышали последним.

В конце марта или в начале апреля, когда первый шквал революции прошел, мы через наши студенческие организации получили новую директиву: «Разъезжайтесь по домам, товарищи, ваши силы нужны на периферии, в провинции каждый человек на счету». Из дома мы стали получать письма, зовущие нас домой. Родители были полны тревоги и беспокойства за нас. Жаль мне было покидать Петроград. Прощаясь с нашими курсами, я как бы

предчувствовала, что не вернусь больше сюда. В один из последних вечеров, когда наш отъезд в Курск был окончательно решен, сестра уговорила меня зайти к тете Марусе. Она говорила, что одна ни за что не пойдет, что ради мамы мы обязаны пойти к тете и привезти домой последние новости о ней. После первого посещения Крашенниковых я поклялась, что ноги моей там больше не будет, но обстоятельства теперь изменились. Даже здание Судебной палаты, в которой работал Николай Сергеевич, было сожжено, может быть, он арестован.

Идя к маминой сестре, я боялась этой встречи. Придется выслушивать тетины жалобы и сетования молча. Не могла же я выражать ей свое сочувствие! И добивать лежачего, говоря о справедливом возмездии, тоже не хотелось. На мое счастье, квартира Крашенниковых оказалась заперта, мы не могли дозвониться. Очевидно, они куда-то скрылись от революции. На обратном пути домой между мной и сестрой завязался спор. Аня никогда не интересовалась политикой, не примыкала ни к какому течению, меня же она старалась поймать на непоследовательности убеждений, непродуманности, неискренности.

— Не знаю я, чего я хочу, наверное жить спокойно, без стрельбы и пожаров, — говорила она, — а ты врешь сама себе. Представь, осуществляется все твои идеалы, отберут у папы землю, — на что мы тогда будем жить? На какие средства ты будешь учиться?

Сестра задевала мое больное место. Часто я спорила с Раей еще раньше о том, является ли мой отец эксплуататором. Для себя самой я твердо знала, что отец ведет свое хозяйство в Сорочине не из соображений выгоды, что цель его хозяйства — не эксплуатация крестьян, а содействие им, распростра-

нение в их среде знаний, а условия, в которых им приходится жить и работать, только обременяют его труд. Так было для меня, для отца, а со стороны, даже для Ани, отец являлся эксплуататором, и мы жили на средства, полученные от эксплуатации крестьян. С тем большим нетерпением ждала я от революции решения земельного вопроса, ликвидации ложного положения, в котором должен был жить отец и мы все. «И будем жить, как живут тысячи. И папа будет работать и зарабатывать больше, чем сейчас, и будет счастливее в 20 раз. Другие бы говорили, а ты... которая все знает. Считаешь, что мы живем за счет крестьян, и хочешь продолжать жить за их счет». — «Это не от меня зависит, я вовсе этого не хочу, но так было и так есть, вот и все», — возражала мне Аня.

Снова Курск

Провинция входила в революцию медленно. Разгромленное в годы реакции рабочее движение было обезглавлено. К моменту нашего возвращения в Курске не было даже партийных организаций. Они медленно возрождались, по большей части из молодежи, группировавшейся вокруг двух-трех старших. Помню, как мы встречали первого, вернувшегося после двенадцати лет каторги, освобожденного революцией эсера-крестьянина Пьяных. Иконой был для нас этот худенький ласковый старичок. Руководителем нашим он стать не мог, нам нужно было живое конкретное дело, и мы нашли его. Мы подготовляли съезд социалистического студенчества, чтобы бросить все его силы на дело революции. Одновременно мы организовали вечерние об-

щеобразовательные школы для рабочих. Рабочие валом шли к нам, помещение для школы выделила городская дума, преподавательские кадры составляли мы. Обложившись книгами, студенты вели лекции по русской истории, литературе, политэкономии, математике. Мы чувствовали свое бессилие дать рабочим нужные знания, они восторженно благодарили нас, когда мы, собственно, учились вместе с ними. Ученики часто просвещали учителей одной постановкой злободневных вопросов. В Курск, как это ни странно, в те весенние месяцы не доставлялись революционные издания журналов и даже газет.

Железнодорожный вокзал отстоял от города версты за две. На вокзале можно было приобрести любую газету. Студенческий союз добился от городской думы предоставления ему одного из городских киосков. В нем и организовали мы продажу периодических изданий всех социалистических направлений. Деньги на приобретение первой партии газет и журналов мы собрали между жителями города по подписке. Обслуживался киоск студентами, конечно, бесплатно. По очереди ходили мы все на вокзал, покупали и доставляли литературу в киоск. В киоске были посменные дежурства, вся выручка шла на расширение оборота киоска. Город стал, наконец, систематически получать прессу всех направлений. Здесь был и «Голос народа», и «Новая жизнь», и «Дело народа», и «Правда» и другие социалистические газеты и журналы.

Никогда я не забуду празднования Первого Мая 1917 года в Курске. Это было действительно беспредельное ликование вольного народа. Люди толпились на улицах, упивались словами, лозунгами, красными знаменами, революционными песнями, —

воля, свобода, равенство, братство, так внезапно завоеванные, окрыляли всех. Или так казалось нам, молодежи. Не прошло и месяца, как жизнь показала и другим, и мне, что борьба за счастье народное, за братство и равенство только начинается.

Кажется, в конце мая состоялся, наконец, подготовляемый нами съезд социалистического студенчества Курской губернии. К этому времени парторганизации в Курске уже окрепли. Выкристаллизовались политические фракции в городской думе. Моя мать и мать Раи вошли в партию социал-демократов. Приехавшая в Курск Дутя, вступила в партию большевиков. Я с группой подруг вступила в партию социалистов-революционеров. Вступление в партии было до крайности просто, и люди в партии валили валом. Наша студенческая молодежь тоже разбилась на партии, а студенческий съезд с первого же дня раскололся на фракции. Делегаты съезда расселись даже вокруг красным сукном покрытого стола по фракциям. Ни о каком едином социалистическом студенчестве больше думать не приходилось. Свергать царизм мы могли сообща, но построение нового общества совместно оказалось невозможным. Ни по одному вопросу студенчество не могло добиться общего решения: 1) немедленное заключение мира или война до победного конца; 2) скорейший созыв Временным правительством Учредительного собрания или немедленный захват власти Советами рабочих и солдатских депутатов; 3) решение земельного вопроса Учредительным собранием или захват крестьянами помещичьих земель революционным путем. Мы спорили по всем вопросам и ни до чего не могли договориться.

Группу большевиков возглавлял наш хороший товарищ студент Николай Б... ков, честный и идейный

малый. Из самых близких моих друзей членом большевистской партии оказался и член нашего клуба «Бездельников» Муня Коган. Но наряду с ними в числе левых оказались и те студенты, которые в прошлое время считались нами белоподкладочниками. Так, некто Скворцов, вызвав общее недоумение и левых, и правых, бросил съезду фразу, ставшую крылатой в наших рядах. Гордо подняв голову и заложив руку за борт студенческой куртки, он заявил:

— Пора снять маски, я — левый эсер.

Гомерический хохот покрыл его слова. Хохотали большевики, социал-демократы, эсеры: «Скворцов снял маску».

В этой фразе, как и во всем, происходившем на съезде, было знамение времени. Страна безудержно левела, выходила из берегов. Студенчество как компактная единая масса перестало существовать. Организованный нами Дом студента не привлекал уже нас. Социалистические издания стали поступать в город регулярно, надобность в киоске исчезла. Рабочие школы тоже стали создаваться городской думой помимо нас. Я с товарищами больше времени стала проводить при партийном комитете. Ответственных заданий нам, молодежи, не поручали. Помню одно, до крайности обидное. В Курске должен был состояться губернский съезд партии эсеров. Меня и мою товарку оставили в помещении комитета партии. Мы должны были встречать приезжающих делегатов и направлять их туда, где проходил съезд. Нам самим хотелось присутствовать на съезде, слушать выступления ораторов. Сперва изредка еще являлись делегаты, приехавшие из районов, и мы снабжали их адресом, затем не приходил уже никто. Мы сидели и безбожно скучали. От нечего делать

стали раскуривать лежащую на столе пачку папирос. Нам обеим шел уже восемнадцатый год, но были мы глупыми и наивными детьми, хотя и принадлежали уже к партии. Мы учились курить.

Папа настойчиво звал нас в Сорочин, куда обычно на лето переезжала вся наша семья. Старшие товарищи тоже советовали нам разъехаться по селам, в гущу народную. Туго приходилось нам, зеленой молодежи. Веры и желания было у нас много, мы страстно хотели разобраться во всех сложных политических вопросах, разногласиях дня. Разногласия межпартийные были нам понятны. Различные установки партий социал-демократов, социалистов-революционеров, анархистов, народных социалистов мы знали хорошо, но понять разногласия внутрипартийные, между Черновым и Марией Спиридоновой, Камковым, Керенским, Аксентьевым, Брешко-Брешковской, бабушкой русской революции, — было нам значительно сложней и трудней. С большой неясностью в ряде вопросов, без точных и ясных директив ехали мы на село к крестьянам, для которых, собственно, вся суть революции сводилась именно к конкретному разрешению злободневных вопросов.

Сорочин

Летом 1917 года вместе со мной в Сорочин приехала Рая. Мы хотели работать на селе, мы мечтали о встрече с крестьянами, завязать связи в деревне, создать эсеровские ячейки. Беспомощные сами, мы обратились за помощью к отцу. При всем своем сочувствии революционному движению, папа не примкнул ни к одной из социалистических партий, но к нашим настроениям относился сочувственно. Он по-

обещал нам показать крестьян, которые скорее и лучше всего помогут нам создать первичные ячейки эсеров.

Пора была горячая, все люди были на поле, но вечерами, как и раньше, у нашего крыльца собирались крестьяне для беседы с отцом. Они толковали об урожае, об ожидаемом дожде, о новостях, о слухах и событиях, волновавших страну. Мы с Раей обычно присутствовали на этих беседах, иногда вставляли свое слово, но повернуть разговор в желаемое для нас направление не удавалось. В одно из воскресений отец позвал меня:

— Сейчас со мной сидит на крыльце очень умный крестьянин. Если вы с Раей с ним хотите побеседовать, приходите.

Я сейчас же позвала подругу. Папа не помог нам начать разговор, не вмешивался ни одним словом в нашу беседу. Я не помню, с чего начали мы свою агитацию, не помню и хода нашей беседы, но помню, что собеседник наш оказался очень толковым, очень заинтересованным и страшно дотошным. Он задавал нам бесконечные вопросы и по программным положениям и по текущему моменту. Он требовал от нас конкретных указаний, вступал в спор и загонял нас в такие тупики, из которых мы едва выкарабкивались. Когда беседа наша закончилась, он крепко пожал нам руки. Мы сияли, но не могли понять, почему с какой-то странной усмешкой, подавая руку отцу, он сказал:

— Побольше бы таких барышень, может, толк бы и был.

Когда он ушел, мы, взволнованные, вопросительно глядели на отца.

— Что ж, молодцы, — промолвил он, — выдержали испытание. Герасим похвалил, ему и книги в руки, он ведь эсер еще с 905 года.

Брожение и раскол в обществе

Чем дальше развивалась революция, чем глубже и шире она охватывала жизнь, тем трудней и сложней становилось разрешение теоретических, программных, жизненно необходимых вопросов.

Теория столкнулась с практикой.

Одним из основных положений партии социалистов-революционеров был вопрос о социализации земли. Эсеры считали возможным проведение социализации земли даже в рамках капиталистического строя. Требование социализации земли включалось в программу-минимум.

Но в конкретной исторической обстановке они считали невозможным немедленный захват земель революционными организациями крестьян. Они считали, что социализация пошатнет фронт, что никакими силами не остановить дезертирство солдат с фронта, если они узнают, что расхватываются и распределяются помещичьи, государственные и церковные земли.

Второй вопрос вытекал из первого. Можно ли сейчас оголить или ликвидировать немецкий фронт? Партия эсеров в большинстве своем отрицательно отвечала на этот вопрос, и потому полагала, что закон о социализации должен быть отложен, он должен стать первым законом, принятым Учредительным собранием, созыв которого надо форсировать всеми способами. И эсерам, единственной социалистической партии, ставящей на первое место в своей

программе вопрос о социализации земли, приходилось на всех крестьянских собраниях удерживать крестьян от захвата земель. А свой лозунг «Земля — крестьянам» отсрочивать до Учредительного собрания, то есть брать нарастающий революционный размах в шоры.

Война 1914-16 годов рассматривалась эсерами как война империалистическая. В свое время эсеры примкнули к Циммервальду. Это ясно определяло их отношение к русско-германской войне.

Самым популярным лозунгом большевиков был лозунг — «Мир во что бы то ни стало». Легко его было бросить в толпу, но значительно труднее осуществить. Крестьяне, рабочие, солдаты не хотели войны, но союзники и слышать не хотели о мире. Для России оставался только сепаратный мир, мир, заключаемый с Германией Вильгельма II, с реакционнейшим государством в Европе. Ликвидация Восточного фронта вела к усилению германских армий на Западном фронте. Правительство Керенского в целях продолжения войны выпустило заем свободы. И заем был встречен с энтузиазмом. Люди добровольно несли свои сбережения на защиту свобод от немецких полчищ.

Патриотические настроения сменялись настроениями революционными. «Промедление революции — смерти подобно». Задержанная волна или сметает все на своем пути или теряет силу.

В нашей семье сошлись представители всех точек зрения. Отец, исходя из своих народнических воззрений, симпатизировал эсерам. Мать вступила в партию социал-демократов. Старшая сестра стала большевичкой. Я — эсерка. Аня заявила, что, уж если обязательно надо сделать выбор между различными общественными течениями, пожалуй, ей

симпатичнее других анархисты. Дома у нас постоянно происходили споры, доходившие до бурных сцен. Мама, как собственно полагается всем социал-демократам, стремилась всячески сгладить острые углы, примирить враждующие стороны. Я разделяла все лозунги, все руководящие статьи органа эсеров — «Дело народа». Но в партии эсеров не было единства. Симпатии мои были на стороне Виктора Михайловича Чернова, но не могу не признаться, что и пламенные речи Керенского увлекали меня.

В начале революции я чувствовала свою полезность, я находила в себе силы и возможность содействовать делу революции. Теперь, когда встали новые вопросы созидания новых форм общественной жизни, когда сложнейшие вопросы раскалывали рабочее движение, я ощущала невозможность бросить свои силы на ту или иную чашу весов. Я металась в искании истины, но твердо была уверена в одном — революция победила, старый мир сломан раз и навсегда. Мы — счастливое поколение, которому надлежит строить новое социалистическое общество. Нужны России теперь не такие недоучки, как я, стране нужны — честные, знающие и умелые работники. И я решила учиться, чтобы потом отдать все свои силы на строительство новой жизни.

Отец был очень доволен моим решением. В деревне я черпала сведения из газет, из слухов, передаваемых крестьянами, из рассказов приезжающих из города. Вернувшись в Курск в августе 1917 года, я реально ощутила, как изменилась жизнь за лето. Вся страна разбилась, разделилась на партии и группировки, расчленился, раскололся и круг моих ближайших друзей и товарищей. Саша Праведников и Матвей Рождественский ушли к левым эсе-

рам, Галя Фрид стал социал-демократом, интернационалистом, Ваня Васильев симпатизировал анархистам. Мое желание уехать учиться окрепло. Ехать в Петроград не было никакой возможности. Даже почтовые связи были затруднены; проезд же по железным дорогам был вовсе нарушен. Оставалось одно — ехать в Харьков.

В Харькове

Во время войны в Харьков эвакуировался Ново-Александровский сельскохозяйственный институт. Прошлый год для занятий у меня, собственно, пропал. Приходилось снова поступать на I курс. В Харьков вместе со мной, как и в прошлом году, ехали Аня и Оля. В Харькове учились Рая и Шура, за ними там сохранилась комната. Нам надо было найти себе жилье. Только на одну ночь разрешила нам хозяйка Раиной комнаты, вдова профессора Редькина, остановиться у подруг. Харьков буквально кишел людьми. Ни одного свободного угла мы не смогли найти. Вся жизнь была взбудоражена, неспокойна. По улицам беспрерывно шли какие-то военные отряды, пролетали банды грабителей. Ползли слухи о погромах. Хозяева квартир опасались пускать квартирантов.

Умудренные опытом прошлого года, мы с Олей не пытались найти квартиру самостоятельно, вместе с остальной массой студенчества толклись мы в стенах своего института, добиваясь предоставления нам жилья. Положение с жильем было очень тяжелое. Многие здания были отведены под госпитали, под военные учреждения, для эвакуированных. Нашему институту было обещано трехэтажное зда-

ние под общежитие, но оно только еще освобождалось и приспосабливалось. Временно студенчество размещалось на ночевки по самым разнообразным местам. Нам троим — Оле, Ане и мне — предложили отправиться на ночевку в одну из студенческих амбулаторий. Днем там проводился прием больных, ночью — на столах, на скамьях, кто как и кто где, ночевали курсистки.

Оставив вещи на квартире у Раи с Шурой, в десятом часу вечера отправились мы втроем разыскивать амбулаторию. Сторожихи при амбулатории уже не было. Дверь нам открыла молоденькая курсистка, одна из товарок по ночлегу. Кроме нее, в амбулатории находились еще две девушки, тоже пришедшие сюда на ночь. Девушки, с которыми мы познакомились, ночевали здесь уже третью ночь. Они сообщили нам, что к восьми часам утра мы должны освободить помещение. К этому времени явится сторожиха, а в полдевятого начнется запись больных на прием. Они же указали нам никем не занятые на ночь столы и скамьи. Уставшие от беготни и впечатлений, мы с Олей растянулись на одном столе. Аня устроилась на одном из диванчиков, подложив какой-то ящик себе под голову.

После Петрограда Харьков нам очень не понравился. Он казался нам маленьким, грязным, заплеванным, — может быть, и Питер стал сейчас таким. Но институт произвел на меня замечательное впечатление. Совместное обучение накладывало своеобразный отпечаток. Товарищеские отношения между студенчеством и профессурой, деканатом и дирекцией, сотрудниками конторы создавали атмосферу действительно вольной школы. Мы доверяли ей и радостно шли навстречу жизни, шуткой встречая трудности и с верой глядя в будущее.

Девушки, оказавшиеся нашими товарищами по ночлегу, были настроены иначе. Они возмущались беспорядками в городе, тем, что высшая школа не подготовилась к приему студентов. Скоро для нас выяснилась основная причина их мрачных настроений. Все три девушки были еврейками, приехавшими из недалеко расположенного от Харькова местечка. По их словам, то там, то здесь по всей Украине происходили беспорядки, сопровождавшиеся еврейскими погромами. Они уверяли, что в ближайшие дни еврейский погром должен разразиться и в Харькове. Мы пытались успокоить, разубедить девушек. О подготовляемом погроме, о принимаемых по охране еврейского населения мерах, мы тоже слышали. Но мы были уверены, что меры будут приняты и погромное движение не будет допущено. Под горестный, тревожный шепот девушек мы заснули. Проснулась я от громкого спора Ани с девушками. Я не сразу поняла, что их смущает. Девушки были в сплошной тревоге, они метались по амбулатории, не зная, что предпринять. За окнами по улице, по их словам, к зданию амбулатории шли громилы. Девушки хотели звонить по телефону, вызвать отряд по охране города. Аня просила их успокоиться, она уверяла, что никаких оснований для волнений нет. Они же твердили:

— Вы все спали, вы ничего не знаете, вы русские, вам нечего бояться. Они были под окнами, они швыряли в окна камни, ломали дверь. Они сказали, что сейчас придут и разделаются с нами.

Оля вскочила, протирая глаза, и обе мы бросились к окну. Улица была тиха и пустынна. Вдоль тротуара прошел, удаляясь, милиционер.

— Вот, видите, он уходит, они всегда уходят, когда приближаются погромщики.

Милиционер действительно уходил. Это мы видели. И тут же мы услышали шаги по лестнице. Сперва они как будто прошли мимо нашей двери, потом вернулись к ней. Минуту длилась тишина, потом в дверь застучали, забарабанили, задергали ее, затрясли. Я направилась было к двери, чтобы выяснить, в чем дело, но одна из девушек вцепилась в меня:

— Не смейте, не смейте, — шептала она прерывающимся голосом.

А в дверь колотили, в дверь кричали пьяные голоса:

— Отворите, а то хуже будет.

Минуты три неизвестные колотили в дверь амбулатории. Потом шум стих, за дверью чертыхнулись, мы услышали удаляющиеся шаги. И в ту же минуту одна из них начала звонить по телефону.

— Барышня, скорей соедините с городской охраной! Да, да, громят! Пусть скорей выезжает помощь! Бросают камни! Ломают дверь!

Мы стояли пораженные.

— Где толпа, кто вас громит? — накинулась на девушек Аня, — три парня ушли в ту пивнушку, я видела, где же толпа? Что вы наделали?

Ответом на Анины слова были рыдания, граничащие с истерикой. Молча отошли мы в сторону. В пустой и темной амбулатории — свет девушки просили не зажигать — они плакали, забившись в уголок, мы с Олей сидели в другом конце комнаты. Аня расхаживала по ней.

На улице было пусто и тихо. Лунный свет струился в окна. В этой ночной тишине мы услышали топот копыт по мостовой, сперва отдаленный, но приближающийся. Мимо нашего дома промчался конный патруль. Он промчался мимо, потом повер-

нул обратно, топот копыт смолк у подъезда амбулатории. Одна из девушек бросилась к форточке:

— Сюда, сюда! — кричала она, высовывая руку в открытую форточку.

Мне было так стыдно, что я не знала, куда деваться. Что можно было поделать с этими запуганными, обезумевшими от страха девушками.

На лестнице стали слышны шаги, в дверь постучали. Двое вооруженных людей вошли в помещение амбулатории. Я не подошла к ним, я только слышала сбивчивый, прерываемый всхлипываниями, рассказ девушек о существовавшей в их воображении толпе громил, о камне, брошенном в окно, о требовании открыть дверь, об угрозах.

— Так, значит, громилы ушли? — произнес мужской голос, — и помощь здесь не нужна, мы можем ехать?

— Нет, нет, что вы, они сейчас вернутся! Они грозились, что вернутся. Они пошли за другими, не оставляйте нас, — перебивая друг друга, молили наши соседки.

— Ну, что с вами делать, пойдемте со мной, поищем ваших громил. Вы хоть узнаете их? Мы их тогда задержим.

— Ни за что, ни за что! — воскликнули все три разом.

Аня подошла к начальнику отряда.

— Я пойду с вами, я видела трех мужчин. Они вышли из нашего дома и зашли в погребок. Если они там, я их узнаю.

Аня пошла с охранниками, мы с Олей подскочили к окну. У подъезда нашего дома стояло человек десять вооруженных всадников. Вся улица была залита лунным светом. Аня и начальник охраны перешли улицу и зашли в погребок. Всего несколько

минут провели они в подвальчике. Когда они вышли, мы увидели, как Аня простилась с начальником и вошла в дом. Начальник охраны вскочил на коня, и весь отряд поскакал рысью по улице.

К нам Аня вошла со смехом.

— Не погромщики, а романтическая история. Четыре пьяных парня... Они уверяли, что стучали вовсе не в нашу дверь, а этажом выше. Наверное перепутали спьяну. Над амбулаторией жили их девушки. Всегда они к ним ходили, а сегодня не пускают. И в окно они швырнули не булыжник, а спичечный коробок...

Аня смеялась и была в полном восторге от начальника охраны. Девушки конфузливо молчали. Я злилась. На утро мы с Олей поклялись, что в этой паникерской компании больше ночевать не будем.

Обывательская трусливость порою злила, порою веселила нас. Раина квартирная хозяйка, профессорша Редькина, без памяти боялась грабителей, обысков, конфискации ценностей, всего, что угрожало ее тихому материальному благополучию. У нее была большая барская, хорошо обставленная квартира. Где-то припрятывались продуктовые запасы, одежда. С небольшим сверточком ценностей она носилась, как курица с яйцом, не находя для него надежного места. Тут уж мы поиздевались всласть. Мы советовали ей спрятать сверточек в самые замысловатые и трудно досягаемые места. А на другой день срочно советовали перепрятать. У наших знакомых, придумывали мы, при обыске нашли как раз в таком месте.

Бедная профессорша! Сколько забот причиняли мы ей своей забавой! Мы и презирали, и ненавиде-

ли этот затаившийся трусливый мир, дрожащий перед разгулявшимися страстями революции.

Была я как-то свидетелем одной, прямо анекдотической, истории, показывающей запуганность горожан. Среди бела дня, часов около двенадцати, мимо дома, в котором я жила, проехала легковая машина. Она остановилась через дом от нас перед подъездом городского банка. Через какие-нибудь полчаса машина проехала обратно, а еще через полчаса улица огласилась криками, шумом, скакали всадники, спешили мотоциклисты. В банке произошло следующее: из остановившейся перед банком машины вышли три человека и вошли в него. Все трое были в плащах и масках.

— Руки вверх! — скомандовали они. Один из грабителей поднял вверх какой-то предмет, завернутый в бумагу. — Я держу бомбу, — предупредил он окружающих, — если кто-нибудь сдвинется с места или поднимет шум, все помещение взлетит на воздух.

Незнакомцы предложили выложить все ценности из сейфов банка. Забрав ценности, грабители положили «бомбу» на край стола, прикрыли ее скатертью и, потребовав от присутствующих полной неподвижности и молчания в течение 15 минут, спокойно вышли из дома, сели в машину и уехали. 15 минут, как оцепенелые, стояли сотрудники банка. Самым невероятным оказалось то, что «бомба», со всей предосторожностью извлеченная прибывшей милицией из-под скатерти, оказалась булыжником, обернутым в несколько листов бумаги.

Покаюсь, было с нами и совершенно, конечно, недопустимое в эти дни. Город жил еще по-старому. Существовали еще и частные магазины. Одним из крупнейших в Харькове был магазин Пономарева-

Рыжова. Делать покупки нам не приходилось, денег было в обрез на питание. Но поглазеть на витрины, на товары мы иногда ходили. Как-то раз, зайдя в магазин Пономарева-Рыжова, мы увидели на витрине чайные ложки из толстого прозрачного стекла. Было нас человек 5 или 6 курсисток. Нас заинтересовало, для чего нужны такие стеклянные ложки. Лопнут они, если опустить их в кипяток, или не лопнут? Купить ложечку мы не могли. Денег у нас не было.

— Вот бы свистнуть! — сказал кто-то.

— Уже, — ответила я.

Товарки недоуменно на меня оглянулись. Со смехом вся наша компания покинула магазин. Ложечка, опущенная в кипяток, не лопнула. Случилось так, что завалявшись в моих вещах, ложечка попала на глаза маме. Искренно и глубоко было ее возмущение:

— Стыд! Позор! Моя дочь, член партии эсеров украла...

Мама не договаривала — «ложку у Пономарева-Рыжова». Договаривали за нее мы.

Несколько позже, уже после октябрьского переворота, когда большевиками намечалась судебная реформа, но трибуналы еще не были введены в жизнь, мы организовали первое шуточное заседание трибунала. Судили меня за похищение ложки. Обвинитель говорил о чистоте морали, о щепетильной честности, о проступке, который роняет в глазах граждан революционную молодежь, об обывателях, которые используют такое поведение для создания собственного мнения. Защита говорила о бедном студенчестве и противопоставляла ему толстобрюхих, ожиревших коммерсантов, сдирающих последние крохи за стеклянную, дутую, никому не нужную

ложку. Заседание этого трибунала доставило нам не меньшее удовольствие, чем похищение ложки. Мы были безудержно веселы в эти годы.

Мы поселились в общежитии. Жить там было, главным образом, весело. Правда, было тесно, мест не хватало. Нас троих и еще трех курсисток временно поместили на большой лестничной площадке третьего этажа. Лестница вела только до нас, дальше ход был загорожен. Три стены площадки были каменные, фундаментальные. Четвертая стена отсутствовала, ее заменял занавес.

Жизнь в общежитии шла веселая, даже бесшабашная. Кое-где, особенно в помещениях студентов, процветали и картежная игра, и попойки. С этим велась упорная борьба.

Мы прожили в общежитии недолго. В этом году нам, прежде всего, хотелось учиться. А учиться в общежитии было почти невозможно. Все рассеивало, все отвлекало от занятий. Мне хотелось поскорей засесть за книги. Я была очарована Ново-Александрийским институтом. Профессор Палладин, читавший у нас анатомию домашних животных, был особенно любим нами. Профессор физики Мышкин, гроза студентов, очень строгий экзаменатор, увлекал нас на лекциях. По сравнению со Стебутовскими курсами слаб был только профессор зоологии. Но там лекции читал сам профессор Аверинцев.

На наше счастье двое студентов помогли нам найти частную комнату. Хозяева квартиры были очень милые люди. Хозяин — рабочий железной дороги, жена его — домашняя хозяйка. Были они добрыми приветливыми старичками. Очень уютно устроились мы в новой комнате. Хозяева дали нам три койки и большой стол. Утром и вечером они ставили на

кухне большой самовар, и мы могли брать кипятка сколько хотели.

Занятия мои на курсах шли хорошо, но у Ани и Оли занятия не налаживались. Не шли занятия и у Раиной сестры Шуры. Она, Аня и Оля решили вернуться в Курск. Жить в комнате поодиночке и мне, и Рае было дорого, и мы решили объединиться. Со светлым чувством вспоминаю я месяцы, прожитые с Раей. Обе мы упорно посещали лекции, практические занятия, готовились к зачетам. Острая политическая обстановка интересовала нас обеих, но она шла над нами, нам было некогда, мы учились. Связей и знакомств вне студенческой среды у нас не было. Разобраться в сложнейшей политической обстановке не хватало ни знаний, ни умения. Подготовляющийся октябрьский переворот, положение рабочего класса в крупнейших центрах, приближение срока созыва Учредительного собрания... Возможность подавления силой оружия одной группы рабочего движения другой не приходила нам в голову.

Октябрьская революция

Октябрьская революция возмутила нас методами насилия, но вслед за старшими мы полагали, что большевики не продержатся долго, что сами они и поддерживающие их рабочие убедятся в нереальности, неосуществимости выдвинутых ими лозунгов. Того, что большевиками будет разогнано Учредительное собрание, собравшее социалистическое большинство, что будут загнаны в подполье все политические партии, мы себе не представляли. Мы не могли себе представить, что одно из социалистических рабочих течений обрушит на народ ту волну

гнета и террора, которая ожидала Россию. Мы учились. Хорошо помню, как закончилось для меня это счастливое время.

Катастрофа с папой

У себя на курсах я неожиданно увидела Раю. Зачем она пришла сюда? Я сразу поняла, что это неспроста, что случилось что-то необычное. На все мои вопросы Рая отмалчивалась и упорно звала меня домой. Со смутным предчувствием недоброго вышла я из института.

Был ноябрь, лежал первый снег... Я добивалась от Раи, что случилось, но она молчала. Была она необычная — бледная, мне показалось, что на глазах у ней стоят слезы.

— Я открытку от мамы получила, — наконец выговорила она.

— У вас дома что-то случилось? — спросила я.

— Нет, у нас все благополучно.

Я поняла, что что-то случилось у нас.

— Я дам тебе прочесть открытку, — сказала Рая.

Дома Рая протянула мне почтовую открытку, в ней Раина мама писала:

— По-моему Кате надо ехать домой. Ей не пишут, но Лев Степанович в больнице, Лидии Петровне очень тяжело.

Больше ничего о нашей семье не было написано, никаких подробностей...

— Я сегодня же еду, — сказала я Рае.

Рая кивнула мне головой. Быстро сложили мы чемодан и обе отправились на вокзал. Рая проводила меня, усадила в поезд, она обещала уладить все в институте и писать обо всем подробно. Всю

ночь просидела я, прижавшись к углу вагона и не замечая ничего вокруг. Я переживала первое настоящее горе.

Дверь нашей комнаты открыла мне Акулина. Никого, кроме нее не было дома. Дима в школе, Аня на работе, мама у отца. Меня дома не ждали. Мама не хотела срывать моих занятий. Толкового рассказа от Акулины я не могла добиться. Она плакала и сквозь слезы повторяла:

— Поездом задавило, жив будет, будет жив.

Я рвалась в больницу, но Акулина меня удерживала.

— Не пустят все равно, — говорила она. — Кроме Людмилы Петровны никого не пускают. Да и она вот-вот вернется, разминетесь только.

Мама пришла вместе с Аней. Они не плакали, но вид у них был ужасный. Молча обняла она меня, а я не могла выдавить из себя ни слова вопроса.

В деревню еще не дошли газеты, только крестьяне несли странные слухи и глухие путаные отклики на Октябрьскую революцию. Отец поехал в город разузнать, в чем дело. Возле станции Полевая ему надо было пересекать железнодорожный путь. Шлагбаум был открыт. Лошади въехали на железнодорожную насыпь, и в ту же минуту и папа, и кучер увидели летящий на них паровоз. Катастрофа была неизбежной. Лошади рванулись в сторону, отец хотел выхватить из кармана пистолет и застрелиться, но не успел. Резкий толчок выбросил его из саней. Отцу почудилось, что он весь вне рельсового пути, только ноги попадают на рельсы. Отец поднял ноги. Площадкой вагона отцу раздробило обе ноги. Кучер и лошади спаслись. Без сознания отец был занесен в помещение станции. На месте ему не могли оказать помощь. С первым же поездом отца

отправили в Курск, в больницу. Больница известила мать о катастрофе. Срочно пришлось делать операцию. Обе ноги чуть ниже колен пришлось ампутировать. Отец в пути потерял много крови, боялись за исход операции. Теперь после операции прошло уже больше недели, и вчера врачи сказали матери, что отец будет жить, но заживление ран шло очень медленно.

Мама взяла меня с собой в больницу, мне разрешили с порога палаты взглянуть на отца. Обросшее лицо, без кровинки, глаза закрыты... Мама, стоявшая рядом со мной, приложила палец к губам: молчать, не тревожить отца. Глазами приказала она мне уйти, а сама вошла в палату.

Тяжелые дни шли одни за другим. Мама почти все время проводила в больнице, дома мы ожидали ее возвращения с известиями. Всё, кроме состояния отца, померкло для нас.

Ободряющую струю вносило отношение окружающих и, прежде всего, наших крестьян. Все приезжавшие в город крестьяне заходили к нам, чтобы узнать о здоровье отца. Они несли гостинцы — кто калач, кто кринку молока, кто пяток яиц. Растерянно топтались они в нашей городской квартире и увозили вести об отце его старикам-родителям, оставшимся в деревне. Как совершенно второстепенное переживался нами ход политических событий. Закон об отчуждении земель и вовсе теперь не задевал нас. Зачем нам теперь Сорочин? Осталось только вывезти дедушку и бабушку из деревни. И в этом помогли нам тоже наши сорочинские крестьяне. Когда брат приехал в деревню за стариками, крестьяне предложили ему свои подводы для вывоза имущества. Они настаивали на том, чтобы он грузил все, что можно погрузить. Они предлагали

перевезти в город зерно, картофель, перегнать коров и свиней. Брат вывез кое-что из обстановки, носильные вещи и все книги. Было это месяца через полтора после несчастья с отцом. До тех пор старики, никем не тревожимые, жили в деревне. Соседних помещиков громили, жгли, — наши крестьяне отстояли своих «господ» от какого-то отряда матросов, настаивавших на разгроме усадьбы.

Месяца два или три спустя, когда отец был уже дома, к нему явилась депутация от наших крестьян. Они попросили отца дать записку, в которой он сам отказывался бы от земли, усадьбы, скота.

— Теперь, — говорили они, — тебе с нами не жить, а самочинно твою землю мы брать не хотим.

Долго сидели они у нас в столовой, пили чай и очень сокрушались, что отец не дает им такой записки. На слова отца о том, что земля уже не его, что по декрету правительства она находится в распоряжении земельных органов, они с сомнением покачали головами.

— Эх, барин, — говорили они, — мы с тобой сколько лет душа в душу жили, а достанется твоя земля не нам. Вот наскочили из соседнего села и быка вашего увели, и коров разбирают. Дом увезти собираются, нам ничего не останется. Вот дал бы ты нам записку...

Крестьяне ушли огорченные, возможно, они думали, что отец по доброй воле не хочет отдать им землю. Но и впредь в течение ряда лет каждый из крестьян нашей деревни, бывая в городе, считал необходимым проведать Льва Степановича и завезти ему гостинец.

Через год или полтора Аксютин муж уговорил меня поехать к ним и по пути заехать в гости к нашим крестьянам в Сорочин. Мне самой хотелось

поехать, повидать старых знакомых, старые места. К тому же в городе был голод, доставать продукты было трудно, по продовольственным карточкам выдавались крохи. Все, что могли, горожане обменивали у крестьян на продукты. Аксютин муж говорил:

— Выменяете продукты, я вам в город доставлю и, по совести, своим лучше менять, чем чужим.

Набрав с собой соли, кое-какого тряпья, мыла, я поехала к Аксюте.

Аксюта жила в десяти верстах от Сорочина. В Сорочине же жил ее отец, Тихон Черкашин, вместе с семьей. Удивительно хороша была поездка на розвальнях по мягкой санной, хорошо укатанной дороге. Я давно не была в деревне, ширь полей, как всегда, завораживала меня. В Аксюте я встретила настоящую хлебосольную русскую бабу, хозяйку семьи. У нее было двое белоголовых и голубоглазых детишек. Хатенка их была маленькая, с полатями, с маленьким столиком перед большой русской печью. И теленок, и поросенок ютились тут же. Босоногие ребятишки, задрав рубашонки, цеплялись за подол матери, мешали нашему разговору, мешали ее хозяйственным заботам и стряпне. Аксюта хотела угостить меня на славу. Она затеяла толстые крестьянские лепешки, которые пекут перед хлебом, отделив часть теста из квашни. Прежде чем посадить лепешку в печь, она жирно смазывала ее толченым конопляным семенем, облитым сперва кипятком. Сцеженным конопляным молоком запивали мы жирные лепешки. Корова у Аксюты только отелилась, молоко в еду не шло. Проголодавшись с дороги, я уплетала лепешки за обе щеки. Не отставали от меня и хозяева, Аксюта все подкладывала и подливала мне.

— Ведь в городе у вас теперь голод, приезжайте к нам, мужик к осени хату новую достроит, всех прокормим — и барина, и барыню.

По дороге в Сорочин мы заехали в Пузановку навестить Варю, Акулинину племянницу, работавшую до замужества у нас. И здесь меня встретили тепло и радушно, как свою. Но прием в Сорочине превзошел все мои ожидания. Откуда-то узнали, что я еду, и, когда наши сани въехали на деревенскую улицу, из хат выходили крестьяне и приветствовали меня. Избенка Тихона стояла в самом дальнем краю села. Жил он бедно, семья была большая. Избушка была маленькая, покосившаяся. Не успели мы войти в хату, как она заполнилась народом. Пришли мужики, бабы и, конечно, молодежь, подруги моих детских лет.

Обогревшись и отдохнув, пошла я с целой гурьбой ребятишек по избам. Наконец, добрались мы и до околицы. Мне хотелось взглянуть, что осталось от нашего сорочинского гнезда. Девчата затоптались на месте, зашушукались, застеснялись:

— Дом-то вывезли, сад порубили, — виновато-застенчиво говорили они.

До ворот нашей усадьбы они все же дошли со мной, дальше идти отказались. Дальше двинулась я одна, увязая в непротоптанном снегу. С трудом пересекала я то, что было раньше двором. Дома не было, по серебристому тополю, росшему перед крыльцом, я определила место. По сохранившейся аллее желтых акаций я узнала место, где была столовая. С чувством грусти и тихой нежности осматривалась я кругом, но долго задерживаться мне было некогда. Когда мы снова шли в деревню, одна из девушек упрекала меня:

— Хоть бы слезинку обронила.

Я засмеялась:

— О чем же мне плакать? Вот выучусь на агронома, приеду к вам, примете?

— Примем, примем! — уже весело отвечали девчата.

Обменять в Сорочине мне ничего не удалось. Никто не согласился взять от меня что бы то ни было.

— Ты нас не обижай, — говорили мне и несли подарки.

Я не хотела брать, но Аксютин муж все забирал и укладывал в сани. В других селах я, конечно, сменяла все, что у меня было, на картошку, муку, крупу, масло. На полном возу всякой снеди привез меня Аксютин муж домой. Так сказала я последнее «прости» нашему Сорочину. Больше я его не видела, да больше его и не существовало.

К январю 1918 года папа уже настолько окреп, что мог сидеть. Он настоятельно требовал, чтобы я не теряла время и ехала учиться, и вместе с Раей, приезжавшей на рождественские каникулы, я снова поехала в Харьков.

После Октября

Два месяца, проведенные мной к Курске, были заполнены тревогой за отца, и все же яснее и острее, чем в Харькове, воспринимала я общественную жизнь. Октябрьский переворот смел всех прежних общественных деятелей и выдвинул других. Жизнью Курска руководили большевики и левые эсеры. Много молодежи возглавляло ответственные участки жизни города и деревни. Так, Матвей Рождественский, которому было 18 лет, стал комиссаром земледелия, хотя был студентом юридического фа-

культета. Его ровесник, Муня Коган, стал одним из ответственных редакторов единственной выходившей в Курске газеты «Курская правда».

Никого из партии эсеров я не встретила. Они или ушли в подполье, или были арестованы. Интеллигенция в массе своей отсиживалась по домам, бойкотируя новую власть. Из-за семейных обстоятельств мне было не до событий, протекавших вокруг, но примириться с ними я все-таки не могла. Я возмущалась разгоном Учредительного собрания, закрытием социалистических газет, роспуском партии эсеров. Я не хотела видеть моих близких товарищей, Матвея и Муню, я едва переносила Дутю.

Скорее в Харьков! В мой институт! Учиться! Я чувствовала себя обязанной напрягать все свои силы, отдавать все время учению. Я знала: мои успехи в занятиях — главная радость отца. В эти тревожные дни мы были особенно близки друг другу.

После Рождества, вернувшись в Харьков, я с остервенением одолевала учебу. От общественной жизни я стояла в стороне, скептически наблюдала за происходящим. А происходило невероятное. Мир, обещанный большевиками народу, заключить оказалось не так просто. Немцы предприняли наступление. Разложившаяся армия не могла сопротивляться. Был заключен позорный Брестский мир. Он вызвал уход левых эсеров из правительства, брожение в самой коммунистической партии. Собственно, ничего ясно и определенно я тогда не знала. Для нас с Раей непонятным и неожиданным, например, оказалось занятие Харькова немцами.

За неделю до этого Харьков жил тревожной жизнью, усилились обыски и аресты, по улицам двигались воинские части. Расхлябанные, плохо одетые...

То ли они охраняли город, то ли грабили население...

В один из дней февраля все затихло. Город стоял, как вымерший. Подходили немцы. Харьковчане ждали боя. В рабочих кварталах еще можно было заметить движение; улицы, заселенные буржуазией, были пусты. Мы с Раей бродили по этим опустевшим улицам.

Но боя под Харьковым не было. Несколько снарядов разорвалось над Холодной Горой. Затем стройные, прекрасно обмундированные и вооруженные, немецкие войска церемониальным шагом вошли в город. На Сумской, это мы видели сами, харьковская буржуазия встречала немцев приветствиями, рукоплесканиями, букетами цветов. Теперь рабочие кварталы были пусты и немы. Мы ненавидели с Раей эту торжественную публику, всех этих Редькиных, Пономаревых, Рыжовых. Непонятны нам были немецкие солдаты, зачем они шли на революционную Россию? Почему не поворачивали штыков против своего командования, против Вильгельма.

Не помню, как это случилось, но мы с Раей встретились с одним немецким солдатом. Его вместе с группой других солдат разместили по домам на постой. С ним мы познакомились в квартире дворничихи нашего дома. Русского языка он не знал, но мы с Раей немного владели немецким. Вот с ним, с этим немецким солдатом, у нас завязался задушевный разговор.

Он был немецким социал-демократом, студентом. Как и мы, презирал он харьковскую буржуазию, как и мы, надеялся и ждал, что германский народ восстанет против ненавистного Вильгельма, отзовет свои войска домой.

Целый вечер проговорили мы с ним. На следующий день мы не застали его, очевидно, их часть ушла дальше.

К весне я сдала все зачеты первого курса на отлично. Радостно везла я отцу свою зачетную книжку.

Отец за месяцы, проведенные мною в Харькове, оправился настолько, что мог уже передвигаться. Ему были заказаны протезы, но сделаны они были так неудачно, что ходить он на них не мог.

Папа приспособил себе маленькие деревянные дощечки, которые привязывал к обрубкам ног. На коленях передвигался он по дому и даже выходил на крылечко, опираясь на костыли. Все время он проводил за чтением научной литературы. Угнетало отца то, что он не может работать, и он старался быть полезным, чем только мог. Пробравшись на кухню, усевшись на кресло, колол дрова, чурки, которые мы с братом подставляли ему. Руки у отца были сильнее, чем у нас. Он научился шить обувь и шил маме туфли. Купить обувь в то время было невозможно, кожаный товар вовсе отсутствовал, мы все ходили в самодельной обуви на веревочной или тряпичной подошве. Мама работала в продовольственном отделе, Дутя — в отделе народного образования, Аня — воспитательницей в детском саду. Дима учился в школе. Бабушка с дедушкой жили с нами. Акулина тоже жила у нас, хотя платить мы ей уже не могли. Семья была большая, с продуктами было трудно, но голода, настоящего, царившего в Москве или на Поволожье, мы не испытывали.

3. ГОДЫ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

Развал и разруха

В 1918 году была социализирована вся промышленность, все фабрики, заводы, банки, дома, торговля. Это было тяжелое время развала и разрухи, сплошной расхлябанности как на производстве, так и в армии. Разрушать было значительно легче, чем созидать новое. Одни бойкотировали новую власть, другим не доверяла она сама, третьи хотели строить новую жизнь, но не умели. Миллионы мелких хозяйчиков, ремесленников в городе и в деревне наживались на отсутствии товаров, порождали бешеную спекуляцию.

Методы насилия периода военного коммунизма разлагали руководящих работников и возмущали население.

Расшатанность моральных устоев, происходившая из-за грубых форм антирелигиозной пропаганды, сводившаяся к конфискации церковного имущества и надругательству над святыней народа — все это я видела в Курске, все это так или иначе входило в мою жизнь.

О крестьянских волнениях летом 1918 года я только слышала. Я слышала о так называемой борьбе бедноты с кулачеством, об организации комбедов — основной власти на селе, о походе рабочих отрядов по селам для конфискации хлебных излишков, необходимых голодающим городам.

Крестьянство раскулачивалось. В кулаки зачис-

лялись все недовольные на селе. К кулакам причислялись крестьянские семьи, никогда не прибегавшие к наемному труду. Если в хозяйстве было две коровы, корова и телка, или пара лошадей, хозяйство считалось кулацким. В села, где крестьянство отказывалось сдавать излишки хлеба и не выявляло кулаков, отправлялись карательные отряды. И крестьянство на своих сходках выбирало, кому ходить в «кулаках». Меня тогда потрясло это, но крестьяне объяснили: «Приказано, чтобы кулаков выявили, податься некуда».

Кулаков выбирали на мирских сходках, как прежде выбирали старосту. Обычно выбор падал на бездетных бобылей, чтобы не пострадали детишки.

Рабочие в России в большинстве своем были связаны с деревней. Когда разруха охватила фабрики и заводы, рабочие, чтобы просуществовать, занялись производством всяких мелочей, вроде зажигалок, продаваемых на рынке, или возвращались в деревню, где рассказами о разрухе еще больше тревожили крестьян.

Крестьянин ничего не мог купить для своего хозяйства — ни мешка, ни веревки, ни топора, ни спичек. Мыла в магазинах тоже не было. Мыло продавалось в подворотнях и на базарах из-под полы. Шли дурацкие слухи, что мыло варят из человеческого мяса, что воруют и убивают на мыло детей.

Все ценности, которые отбирались у богачей городских и кулаков деревенских, а также по церквам, свозили и сваливали где-то с учетом и без учета. Кое-что прилипало к рукам изымавших ценности, уплывало со складов. Кто не брал в те годы! Даже Дутя принесла Акулине пару икон в ризах. Конечно, она уверяла, что иконы никому не нужны, но все же — так было.

Книги, картины, альбомы из частных библиотек свозили в библиотеки общественные, там их грудами сваливали на пол в каком-нибудь чулане. Никто их не собирал, не сортировал.

В библиотеках с полок изымали книги нежелательного направления по присылаемым спискам или по собственному разумению вновь назначенных библиотекарей. В штрафной список попала тогда вся история России... Ключевский, Платонов, конечно, Елпатьевский, Карамзин. Один Покровский в первые годы революции был в чести. Лев Толстой подвергся гонению за его религиозно-философские работы, но заодно с полок смахивались «Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение».

Со всеми своими тревогами и возмущениями я была очень одинока в Курске. Я могла говорить с папой, спорить до одури с Дутей — и только.

Базарные сплетни, слухи, шушуканья по углам, бесконечные анекдоты, язвительные толки делали жизнь непереносимой.

Все некоммунистические организации были в глубоком подполье. Связи с ними у меня не было. И левые эсеры после заключения Брестского мира ушли с исторической сцены.

На работе в Райкоже

Я мечтала об осени, о Ново-Александрийском институте. Материально нам жилось трудно. Чтобы за лето подработать денег, я хотела устроиться на работу. Было это нелегко. Наконец, один знакомый моих родителей, приезжавший из Москвы по организации кожевенного дела, устроил меня на работу в контору курского районного кожевенного комите-

та. Все курские кожевенные заводы были национализированы и поступили в ведение рабочих кожевенной промышленности. Им же были переданы обувные мастерские и фабрики Курской области. Возглавлял райком совсем молодой рабочий Мухин. Конечно, он был большевиком, энергичным, но увы!... малограмотным. Меня наш знакомый устроил на работу в статистический отдел.

Я очень волновалась, боялась, что не справлюсь с работой. Так оно и вышло. В статистическом отделе мне сразу дали счеты, на которых я никогда не считала, и листы бумаги с длинными колонками цифр. В конторе я никого не знала. Усевшись за свой столик, с трепетом подвинула я к себе счеты и принялась за подбивку. Кругом меня двигались люди, трещали машинки, велись разговоры. Я не разгибала спины. Я отказалась от стакана чаю, который принесла уборщица. Несчитанное количество раз пересчитывала я столбцы цифр и каждый раз получала новый итог. Цифры были ясно, четко напечатаны на машинке, но итога столбцам я так и не смогла подвести. В полном отчаянии я вернулась домой после рабочего дня. И назавтра вовсе не хотела идти на работу. Отец и мать уговорили меня.

В конторе меня ждала неожиданность. Мухин взял меня из статистического отдела к себе в кабинет в качестве помощника секретаря.

— Вы будете моим личным секретарем, — сказал он.

В маленьком кабинете директора поставили мне небольшой столик. Напротив за большим столом сидел секретарь Логвинов. Большую часть дня мы были с ним одни. Мухин почти весь день отсутствовал. Логвинов дал мне конторскую книгу приказов

и большую пачку листов с приказами, напечатанными на машинке.

— Вы будете вести книгу приказов, — сказал он.

Приказов накопилось порядочно. Дня три я просидела над перепиской, потом мне стало нечего делать. Ну, приказ, ну, два приказа я переписывала в день, а рабочих-то часов было восемь! На мой вопрос, что мне делать, Логвинов отвечал:

— Ну, посидите так, мне тоже делать нечего.

— Зачем же вам помощник? — спросила я.

— Таково распоряжение директора, — хитро улыбнулся он. — Да вам-то что, зарплата идет.

Все же видя, что я мучаюсь от ничегонеделания, изредка он подсовывал мне какую-нибудь бумагу для переписывания.

На работе в Райкоже я обнаружила, что не одна я работаю два-три часа в день. У других сотрудников конторы день был только немного более загруженным.

(Вероятно, пропущена страница — прим. перепечатывающего.)

...вала приказы Мухина о том, что сотрудник, опоздавший больше чем на пять минут, или ушедший с работы раньше времени, подлежит взысканию. О том, что служащие бездельничают большую часть рабочего дня, в приказе не говорилось ни слова. Так же было в мастерских заводов и фабрик. Люди простаивали из-за отсутствия материалов и нелепой организации труда. Такая работа бесила меня, но скоро я поняла и подоплеку моей работы, возмутившую меня ещё больше.

Молодой рабочий, большевик, пролетарий, только что выдвинутый профсоюзом в начальники, повел себя со мной точно так же, как вели себя некоторые директора капиталистических предприятий. В

нашем учреждении я поняла это последней. У Мухина была милая, совсем молоденькая жена. Простая работница обувной мастерской. Была у них маленькая дочка. Изредка жена его заходила в наш кабинет, я с ней обычно болтала. Мне она очень нравилась. Простая, милая, но малограмотная женщина. На любезность Мухина я не обратила никакого внимания. Иногда мне казалось, что он хочет меня распропагандировать, потому и рисуется передо мной.

Однажды в кабинет к Мухину явилась жена председателя горисполкома. Мухин забегал, засуетился. «Так большевики принимают жен начальников», — мелькнуло у меня в голове. Из ящика своего стола Мухин достал очень красивую шкурку шевровой кожи. В кабинет был вызван сапожный мастер и тут же в кабинете снял мерку с ее ноги.

— Это лучший сапожник, — рекомендовал Мухин мастера.

Мухин задержал мастера:

— Из этой кожи выйдет еще пара туфель. Вы не хотите заказать себе такие же?

Конечно, я захотела. Мастер снял мерку и с моей ноги. Через неделю ее и мои туфли были готовы. Это были не туфли, а мечта. Когда я похвасталась своими туфлями перед сотрудниками Райкожи, выяснилось, что никому из сотрудников кожа не отпускается. Разве по особому ордеру и то простой черный хром. Шевро вовсе не идет на изготовление обуви для населения — на него наложен запрет.

Я начала кое-что подозревать. Мухина не было. Он был в командировке в Москве. До его приезда вопрос оставался открытым. В первый же день по приезде Мухин положил на мой столик маленький пакет:

— Это вам из Москвы к новым туфлям.

В пакетике были шелковые чулки, роскошь по тем временам недоступная.

— Сколько я должна заплатить за чулки и туфли? — спросила я с сомнением. Я думала, — хватит ли моего месячного заработка. Получала я тогда триста или четыреста тысяч в месяц.

— Ну что вы! — ответил он. — Для меня это — пустяк. И цены туфлям нет, ведь такое шевро в продажу не идет.

Краска хлынула мне в лицо.

— Так это подарок директора его секретарше?! Кто вам сказал, что я приму от директора такой подарок?! Нет уж, за туфли я вам заплачу.

Чулки я бросила на директорский стол.

Красный, как рак, растерянный, с опущенными глазами, Мухин сказал:

— Я прикажу сделать калькуляцию.

Красная, как кумач, и злая вышла я из кабинета. Я была уверена, что работа моя в Райкоже окончена. Но назавтра, когда я пришла на работу, мой столик оказался только вынесенным в комнату общей канцелярии и поставлен у загородки. Приказом я была переведена в регистратуру. Новой своей работой я была очень довольна, довольна тем, что неожиданно для себя завоевала симпатии служащих. Дома я размахивала перед носом у сестры туфлями и орала:

— Вот ваши пролетарские директора, жены председателей! Взятки, хищения, разврат — все как у капиталистов!



Неожиданно для всей нашей семьи папе предложили работу агронома при земельном отделе. Ему

поручили наладить работу в организуемых совхозах. Нам это предложение показалось невероятным, но папа ухватился за него. От нашего дома до конторы Земотдела было каких-нибудь полкилометра. Первые дни за папой приезжала лошадь, но взобраться на пролетку отцу было труднее, чем пройти пешком. И он стал ходить на своих дощечках на коленках с костылями. Кто-нибудь из нас сопровождал отца.

Очень сведущий агроном, страшно любивший свое дело, отец с увлечением отдался своей новой работе. Скоро выяснилось, что по работе ему необходимы поездки в район. Он не мог руководить работой из канцелярии. Ехать один папа, конечно, не мог. В помощь себе он взял Диму, младшего брата, которому едва исполнилось 12 лет. Он с кучером усаживал и высаживал отца из экипажа, помогал ему в пути. За свою работу отец получил благодарность. Руководимые им совхозы оказались лучшими в Курской области. Но, то ли от злоупотребления врачей при лечении мышьяком, то ли от давления костылей, мышцы рук отца отказали. У него развился полиневрит, и он снова слег.

Конец ученью. Тиф

Осенью 1918 года я с товарками поехала в Харьков. Уезжая, мы не были уверены, доберемся ли до Харькова. Поэтому я не уволилась из Райкожи, а взяла отпуск. Пассажирские не ходили в то время, или на них невозможно было попасть, в общем, мы ехали в простом товарном вагоне на поезде, носившем тогда название «Максим Горький». Шел этот поезд очень медленно, часами стоял на станциях и

полустанках. Товарные вагоны были забиты людьми до отказа, люди ехали на площадках, на крышах, на буферах. Ехали солдаты, спекулянты с мешками, дезертиры и мы, студенты.

Такой способ передвижения нас не смущал. Компанией человек в пять или шесть залезли мы в теплушку и устроились на ящиках, мешках, кошелках. Скоро ли, долго ли, мы ехали в Харьков.

С квартирой в Харькове нам на этот раз повезло. Мы сразу нашли комнату на троих, правда, на окраине. Не повезло мне в другом. Очевидно, в вагоне какая-то тифозная вошь тяпнула меня. Не прошло и двух недель, как я заболела. Свалилась со страшной головной болью и высокой температурой. Товарищи привезли сперва Раю, как медика. Она пробовала говорить со мной, читать мне что-то, но я бредила. Товарки перепугались, и Рая кинулась за настоящим врачом. Врач определил сыпной тиф.

Эпидемия тифа, охватившая потом чуть ли не весь Союз, вспыхнула как-то сразу. Форма болезни была очень тяжелая. Квартирная хозяйка требовала немедленного удаления меня из дома. Товарки не хотели везти меня в больницу. Про больницы рассказывали ужасы. Эпидемия вспыхнула так бурно, что к ней не успели подготовиться. Больницы были переполнены.

Как сквозь сон помню я, как на извозчике везли меня в больницу. Подолгу стоял извозчик перед зданиями больниц. Меня не хотели принимать.

— Нет мест, идите в другую, — твердили моим друзьям.

Но они знали уже, что в других больницах — тоже нет мест. В конце концов, сопротивление одной из больниц было сломлено. Под руки провели меня друзья в приемную. Меня остригли, раздели и уже

на носилках понесли куда-то по длинному большому коридору. На полу, на тюфяках лежали больные, на пол положили и меня. Не помню, сутки или двое пролежала я в этом коридоре. Потом меня и мою соседку, молоденькую девушку, подняли и отнесли в палату. Нас положили на койки, наша палата была для очень тяжелых больных. Люди все время умирали. В первые дни меня это не тревожило. Я была в бессознательном или полусознательном состоянии. Помню, что мои друзья приходили проведать меня. Сквозь застекленное окно двери я видела их лица, но меня ничто не интересовало. Бесстрастно поворачивала я к ним голову и снова опускала ее на подушку.

Я не помню, лечили ли нас, принимала ли я какие-нибудь лекарства. Около двух недель лежала я, чужая жизни и самой себе. Потом началось выздоровление, и тогда я почувствовала весь ужас больницы. Вокруг нас сновали санитарки, сестры, врачи. Они появлялись, потом исчезали надолго. Больных в больницу везли и везли. Заболевал и сам медицинский персонал. К нам в палату положили трех сестер и двух врачей. Особое сочувствие вызывала молоденькая женщина-врач. Всегда она была такой приветливой, такой ласковой с больными. Заболевание у нее было очень тяжелое. Она бредила, вскакивала с койки, порывалась куда-то бежать. Даже ей, врачу, не могли создать в больнице хороших условий. Когда она металась в бреду, никто не подходил к ней. Самое страшное в этой палате наступило для меня тогда, когда вторая моя соседка по койке стала умирать. То была крупная, немолодая еврейская женщина. Она металась на своей постели, отделенной от меня узким проходом, в котором стояла наша общая тумбочка. К дверям па-

латы ежедневно подходил ее муж, он приносил ей передачи, но она ничем не была довольна. Всегда ей хотелось чего-то другого. Есть она не могла и санитарка каждый день отдавала мужу вчерашнюю передачу. Меня она приняла за свою соплеменницу и пыталась говорить со мной по-еврейски. Она проклинала меня за то, что я отказываюсь говорить с ней на ее родном языке. Умирала она тяжело, к ней одной в нашей палате применяли лечение. Ее заворачивали всю, с ног до головы, в мокрые простыни. Это не помогало. Три дня билась она в предсмертных судорогах. В нашей палате, на койке рядом со мной, она и умерла. Так случилось, что в день ее смерти я увидела за стеклом лицо моей матери. Радость и страх охватили меня. Мама здесь, маму вызвали из Курска, мама проделала ту же трудную дорогу до Харькова. Она оставила папу и семью. Мама здесь... Я уткнулась в подушку и плакала.

Мама решила взять меня из больницы как можно скорей. Условия больницы ей показались страшными. Она нашла в Харькове комнату, где хозяева решились принять меня. Сперва врач ни за что не соглашался выписать меня. Выйти из больницы оказалось так же трудно, как попасть в нее. Но мама все же настояла на своем. Я была очень слаба, друзья рвались проведать меня, но мама никого не пускала. Мы с мамой мечтали о скорейшем возвращении в Курск. Но через несколько дней температура у меня снова полезла вверх. Приглашенный матерью врач сказал:

— Один случай на тысячу... повторный сыпной тиф.

В больницу меня не отвозили. Дома я переболела, дома я и поправилась. Мама спешила домой,

но оставить меня одну в Харькове она не решалась и ждала, пока я смогу ехать. С огромным трудом преодолела я дорогу до Курска. Поезд то шел, то останавливался. Дорогу пересекал какой-то фронт. На одной из станций нам предложили выйти, пройти некоторое расстояние пешком и пересесть в другой поезд. Мест в вагонах не было. Мы едва протиснулись на какую-то вагонную площадку. Мама беспокоилась за меня, ослабевшую после болезни, я боялась за маму, уже старенькую и слабую. Уезжая из Харькова, я чувствовала, что учению моему пришел конец. Так оно и случилось.

Непомерно тяжелая зима 1918-1919 годов еще както щадила Курск. К нам везли голодающих детей с Поволжья, к нам ехали мешочники из Москвы и Петрограда. Курск не был хлебным и сытным краем, и у нас выдавали по карточкам хлеб из необрушенной гречневой муки, рот от этого хлеба оказывался полным лузги, или просяной, горький и рассыпавшийся во рту, как опилки, или овсяный с осотьями. Но мы не ели картофельные очистки, как ели в ту пору москвичи.

Сыпной тиф свирепствовал в Курске. Теснота, голод, грязь, отсутствие мыла — все это сказывалось на развитии эпидемии. В больницах, в больничных бараках не хватало мест. Люди болели дома. Медицинских работников тоже не хватало. Часто болезнь сваливала целые семьи. Оправившись немного сама, я стала проводить время у изголовья больных, мне ведь уже не грозила опасность заразиться. То я сидела возле больных товарищей, то у совсем чужих людей, оказавшихся в безвыходном положении, когда вповалку лежали все обитатели дома. Лечение, собственно, не шло ни в больнице, ни на дому. Лекарств не было, все сводилось к уходу. Смерть ко-

сила людей. Тяжелее других мы пережили смерть совсем юного 18-летнего мальчика Чайкина. Особенно потому, что считали до некоторой степени себя виновными в этой смерти. Чайкин-старший, Чайкин-отец был одним из виднейших левых социал-революционеров Курска. Не помню, то ли он скрывался, то ли был арестован, говорили, что ему грозит смертная казнь. Сын его пошел по стопам отца.

Это был очень талантливый и очень убежденный мальчик. Вокруг него группировалась целая группа школьников. Вслед за отцом и он скрывался. Молодежь, его товарищи, девочки и мальчики, ни словом не проговорились перед нами о том, где Чайкин и что с Чайкиным, пока он не свалился в тифу. И тогда они не открыли нам его место пребывания. И только, когда его положение стало угрожающим, они привезли его в дом к моей товарке, младший брат которой был его другом. Но и тогда они поставили условие — сохранение полной тайны. Они уверяли, что Чайкину грозит арест. Мы дали слово юнцам не вызывать врача. Но когда мы увидели Чайкина, мы пришли в ужас. Тиф он уже перенес, но, валяясь Бог знает где, в каком-то шалаше под городом, без нормального ухода и питания, он был истощен до предела. Все тело его было покрыто пролежнями. Долго спорили мы с ним и с его друзьями, настаивая на приглашении врача. Мы нашли врача, которому можно было доверить нашего больного. Врач признал положение почти безнадежным и требовал больничного режима. С большим трудом мы уговорили этих полудетей положить Чайкина в больницу под чужой фамилией. Они твердили о том, что Чайкину грозит арест, допросы, пытки. Про зверские расправы в ЧК ходили жуткие слухи. В больнице Чайкин умер, хоронили его

под чужой фамилией. Мы упрекали детей, упрекали себя, но понимали, что виной всему были те репрессии, то беззаконие, которое творилось вокруг. Мы не знали, справедливы ли слухи о застенках в ЧК, но они ползли упорно.

Разруха и репрессии

Я снова работала в Райкоже и с молчаливым возмущением смотрела на жизнь вокруг себя. Вместо светлого мира равенства и свободы я видела мир насилия и ожесточенной борьбы. Люди, недавно смело высказывавшие свои надежды и мысли, замыкались в себе. Материальное положение не улучшалось, а приходило все в больший упадок. У меня еще до сих пор хранится открыточка, изданная ВЦК помощи голодающим. Стоила она 1250 рублей. Несправедливость одних сменилась несправедливостью других. На усмирение крестьянских движений власть двинула полки китайских и латышских отрядов, о зверствах которых ходили страшные рассказы. Кому верить? Чему верить?

Брюзжание и шепотки обывателей были мне отвратительны, свободной, вольной критики не существовало, даже газета «Новая жизнь», издаваемая Горьким, была закрыта. Кроме тенденциозной коммунистической прессы никакой информации не было. О жизни России мы ничего не знали. Россия была разобщена фронтами, транспортной разрухой. Шли слухи о Ярославском восстании, о мятеже в Кронштадте, о борьбе чехословаков в Поволжье, о Колчаке в Сибири, о бесконечных анархистских бандах. Коммунистической информации я не верила, слухам — тоже.

В Германии произошла революция, но надежды большевиков не оправдались. Революция в Германии оказалась мелкобуржуазной. Мы по-прежнему оставались в изоляции. Кольцо Антанты смыкалось вокруг России, внутри ее раздирали противоречия.

В крестьянском вопросе как будто бы наступили некоторые облегчения. Продналог был заменен продразверсткой, но вера крестьян в большевиков была поколеблена. Революционный пыл крестьянства был убит. Росли хозяйственно-экономические настроения, село стало наживаться за счет города.

И внутри коммунистической партии не стало былого монолитного единства. Ставка на мировую революцию потерпела крушение. Ведь именно марксисты утверждали, что социализм победит в наиболее передовых капиталистических странах.

Слухи о наступлении Колчака и Юденича сменились слухами о наступлении генерала Деникина. Эти были упорнее, настойчивей, очевидней. Армия Деникина двигалась на нас и двигалась с поразительной быстротой.

В коммунистической информации говорилось о зверствах белых, о связи их с иностранной интервенцией, о толпах помещиков и фабрикантов, сопровождающих деникинскую армию, о возвращении земель и фабрик капиталистам, о зверствах, порках, виселицах, еврейских погромах. Этому я могла верить, но рядом с этим говорилось, что эсеры и с.-д. поддерживают генерала Деникина, армию, состоявшую из белогвардейцев и старых царских генералов. Этому я не могла никогда и ни за что поверить. Не могли ни эсеры, ни с.-д. идти вместе с царскими генералами.

Дома у нас приближение деникинской армии ос-

ложнялось тем, что сестра моя была коммунисткой. Что деникинцы убивают коммунистов, преследуют их семьи, мы верили. Конечно, в случае занятия Курска сестре грозит арест и, может быть, виселица, кто знает... Упорные слухи о еврейских погромах, чинимых приближающейся белой армией, грозили семьям моих ближайших подруг — Раи и Шуры. Ни я, ни мои друзья не могли ждать прихода Деникина, ждать прихода белых, но возмущение коммунистами росло. Чем ближе подходили отряды генерала Деникина, тем ужаснее становились репрессии. Обыски, аресты просто терроризировали город. Порой казалось, что это делается нарочно. В одну из последних ночей в Курске было арестовано 24 человека, представителей курской буржуазии. Их арестовали без предъявления каких-либо обвинений, их арестовали как заложников. В числе 24-х был арестован и Коротков, тот самый, который, будучи городским головой, помогал нам в организации студенческого вечера. Всех арестованных вывезли из Курска в Орел. В Орле все 24 были расстреляны.

Институт заложничества — чем-то варварским веяло на меня от самих этих слов. В те годы очень часто проводились аналогии между нашей революцией и революцией французской. Великая Французская революция знала институт заложничества. Сначала я не хотела этому верить, я перерыла ряд книг и нашла, что это ужасная, жестокая правда. Но это меня ни в чем не убедило, — тем хуже для Французской революции.

Незадолго до прихода к нам белых, ночью в наше парадное застучали. Я открыла дверь, у порога стояли чекисты. Войдя, они предъявили ордер на обыск в квартире Олицких и на арест Дмитрия и Анны. Мы все были поражены. Мать потрясена. Аня

никогда не интересовалась политикой. Теперь она работала в детском доме, была очень увлечена своей работой, дружила с заведующей-коммунисткой и, пожалуй, сочувственно относилась к большевикам. Диме было всего 12 лет. При обыске в нашей квартире, конечно, ничего не нашли, но Аню и Диму увели. Мама была в отчаянии, она металась по квартире до утра. Папа и я старались ее успокоить. Говорили о недоразумении, о какой-то ошибке.

— Ну, хотя бы меня арестовали, — твердила я, — а то вдруг Аню.

Дутя была угрюма, каково ей было смотреть на нас. Мама всячески сдерживалась, хотела казаться спокойной, но сдержать сердце она не могла. При врожденном пороке сердца впервые нарушалась компенсация, мама задыхалась. Наутро выяснилось, что за ночь были произведены обыски во многих домах и арестованы, среди прочих, 30 человек учащихся средней школы, Диминых товарищей и товарок, а вместе с ними почему-то и наша Аня. Свидания с детьми матерям, обивавшим пороги ЧК, не дали; их успокоило немного то, что дети не были отправлены в тюрьму. Они содержались все вместе в одной из комнат здания ЧК. К вечеру того же дня Аня и Дима вернулись домой. Димочка чувствовал себя героем — как же, он был под арестом! Аня смеялась. Дело оказалось просто. При обыске квартиры одного из старшеклассников был найден список фамилий, среди них стояла и фамилия умершего уже Чайкина. Всех, чьи фамилии были в списке, арестовали. При разборе дела выяснилось, что список был составлен учащимися, бравшими вскладчину билеты в театр. Аня, как страстная театралка, вошла в складчину с ребятами.

Насколько было терроризировано население, по-

казывает такой случай. Как-то вечером я шла с ведрами за водой, водопроводы в городе не работали. Артезианский колодец был расположен под горой, в конце нашей улицы, там, где начинались пустыри. Прохожих на улице не было. Подходя к колодцу, я увидела одну девушку. Закутанная в платок тихо-тихо шла она, беспрерывно оглядываясь. Набрав воды, я хотела уже повернуть обратно, но невольно задержалась, глядя на девушку. С ней явно творилось что-то неладное. То ли она шла, то ли топталась на месте. Я подошла к ней, чтобы выяснить, что случилось, не могу ли я помочь. Девушка молчала, глядя в землю. Потом неожиданно всунула мне в руки выдернутый из-под платка чудесный финский ножик. Костяная ручка ножа была из оленьего рога.

— Бросьте его куда-нибудь. За хранение оружия — расстрел. Я боюсь! — прошептала она.

— Да разве это оружие? — удивилась я, но девушка уже бежала прочь.

Чудесный нож остался у меня в руке. Я опустила его в ведро с водой и принесла домой. Совершенно открыто лежал он много лет подряд на моем письменном столе, как красивая безделушка, как нож для разрезания книг.

Деникинцы в Курске

К защите от Деникина Курск готовился упорно. Под Курском должны были состояться решающие бои. С наступлением темноты населению было запрещено выходить на улицу. В самые последние часы выяснилось, что в центре обороны была из-

мена: все пушки были выведены из строя. Город попал в окружение. Стремительно отходили войска, бежали большевики. А население города ничего не знало. В 3 часа дня у нашего парадного остановилась пролетка. С нее сошла заведующая детдомом, открытом в бывшем дворянском собрании. С помощью мужа, ехавшего с ней, она сняла с пролетки три больших плетеных корзины. Она просила маму сохранить эти корзины, пока за ними придут, но не сказала, что хранится в этих корзинах, не сказала, что большевики покидают город, без боя отдавая его белым.

Сестра вторую ночь не ночевала дома, она была зачислена в боевую дружину по охране города. Вечером мы с Аней были приглашены на свадьбу к подруге. Все было скромно, просто и весело. Так как ночью выходить на улицу было запрещено, мы праздновали свадьбу до рассвета. Утром мы шумной ватагой вышли из дома молодых. Домик их стоял на окраине города, улицы были пусты и тихи. В этой тишине четко и резко раздалось цоканье копыт. Из переулка вывернул разъезд верховых и помчался к центру. Деникинский разъезд. На плечах всадников на серых офицерских шинелях сверкали давно не виденные нами офицерские погоны. Торжественным маршем входили войска генерала Деникина в Курск. Они знали, что боя не будет, в Курске их ждали свои. За войсками двигались обозы с продовольствием — белый хлеб, мука, сахар. Все эти блага белая армия раздавала населению.

В городе было тревожно. Тревога была и в нашем доме. Мы пережили большевиков, мы знали, что несли они с собой. Что несут с собой деникинские войска, — никто не знал. Армия проходила че-

рез город, минуя город, занимая прежде всего вокзал, линию железной дороги.

Семья подруги, мать и дети, опасаясь еврейских погромов, при первых слухах о занятии города белыми перебрались к нам. Дома у них остался один отец. Лучший врач-гинеколог Курска, беспартийный, либерально настроенный человек. Жена его принадлежала к самому левому крылу с.-д. Многие считали ее даже большевичкой. Но к партии большевиков она никогда не принадлежала. С политической точки зрения наш дом был из-за сестры-коммунистки менее надежен, но страх еврейского погрома привел их к нам.

Внешне в городе было спокойно. Гражданская власть белыми еще не была сформирована. Агитация сопровождала белую армию. С подвод раздавались населению давно невиданные продукты, разбрасывались по городу советские тысячерублевки, пробитые штампом, изображавшим кукиш. Служащие устремились в учреждения, начальствующего состава не было, он скрылся. Что будет с предприятиями, никто не знал. Служащие Райкожи решили сохранить все имущество конторы. Боясь разгрома, они пришли к решению, по которому сотрудники должны были взять домой все оборудование — кто машинку, кто бумаги. Мне досталось хранить арифмометр. Мы обязались сохранить все до нормальных условий жизни. Город затих в ожидании. На стенах появились широковещательные объявления новых хозяев. Все читали их с затаенным сомнением. Люди недоверчиво смотрели на все посулы.

Мирную жизнь нашей семьи нарушили два события. Кто-то сказал моей матери, что Дутю ви-

дели с оружием в руках на окраине города, когда деникинские войска уже вступали в город. Задами пробиралась она к вокзалу, а вокзал был уже занят белыми. Состояние тревоги охватило маму. Внешнее спокойствие в городе побудило мать моей подруги вернуться к себе домой. Оказалось, что спокойствие не было столь велико, как нам казалось. За два дня, прошедшие с прихода белых, к ним в дом дважды вваливались солдаты и требовали от отца, как от еврея, выкупа. Он давал им денег, и они уходили.

— Теперь, — говорил он, — острый момент позади, теперь никто не получит от меня ни гроша.

Но к ним в дверь снова застучали прикладом. Новая группа солдат стала требовать денег. Отец сказал, что у него уже дважды были, что забрали все, что у него было. Тогда солдаты велели отцу следовать за ними. Толпа солдат, человек шесть, вела Якова Ефимовича по улице раздетого, без шапки. На счастье, из-за угла вышел белый офицер. Расспросив обо всем и обложив грубым матом солдат, он извинился перед доктором и проводил его до дома. В дом войти он отказался.

— Конечно, и у нас случаются безобразия. В случае чего немедленно обращайтесь в штаб.

На плакатах, развешанных по городу, комендант города извещал: «В случае нарушения законных прав населения военными немедленно обращайтесь с жалобами в штаб войск и к коменданту города. Бандитизм и мародерство преследуются по всей строгости, до расстрела включительно. При проведении обысков требуйте предъявления ордеров, подписанных комендантом города».

Читая эти объявления, я внезапно вспомнила о

корзинах, завезенных к нам домой и стоявших в прихожей. Я была уверена, что с обыском к нам придут. Когда я вернулась домой, мамы не было. Я не стал дожидаться ее и вскрыла корзины. Помогала мне в этом Акулина. Корзины оказались набиты столовым бельем дворянского собрания. Скатерти, полотенца тончайшего полотна с вышитым гладью гербом дворянского собрания. Хороши были бы мы, если бы при обыске у нас обнаружились эти корзины. Белья было столько, что я растерялась. Не успею сжечь и негде спрятать. Я схватила ножницы и стала срезать полосы с гербами. Причитая, надо мной стояла Акулина: «Такое добро портить!» Все клочья с метками я выбрасывала в печь. Мама, вернувшись домой, не упрекала меня. Ей самой было странно, зачем к нам в дом подсунули эти корзины. Мама как-то отсутствовала в эти дни. Она ничего не говорила, но, вглядевшись в ее лицо, я безошибочно знала, что она безотрывно думает о Дуте. Удалось ли ей уйти, арестована ли она, жива ли она.

На четвертый или пятый день пребывания белых в городе к нам пришли с обыском. По поведению обыскивающих я решила, что Дутя не арестована. Обыскивающие держали себя очень сдержанно, но обыск вели тщательно. У нас они ничего не могли найти, мы это знали. Но в нашей квартире вот уже третий год стояли сундуки с чужими вещами. История их была такова. Жил у нас на квартире один офицер с семьей. Незадолго до революции вся семья уехала в гости к родным и изчезла. Никаких вестей от них мы не имели. Вещи их стояли нетронутыми. Все это мы сообщили обыскивающим. Они решили вскрыть сундуки. Ключей у нас, конечно,

не было. Сундуки взломали. Из первого же сундука извлекли оружие. Насторожившиеся было солдаты быстро остыли. В сундуках были явно офицерские вещи и продукты: сахар, крупа, мука. Продукты были порченные и покрытые плесенью. Взгляда на них было достаточно, чтобы убедиться, что лежат они давно. Старший заявил:

— Все оружие мы изымем, оно подлежит сдаче.

Мы не возражали. При составлении протокола обыска изъятое оружие было в него занесено и отложено в сторону. Но я заметила, что в кучу с изъятым оружием отложены и военные сапоги нашего квартиранта. В протокол они занесены не были. Я попыталась отложить сапоги в сторону.

— Не трогать! — крикнул на меня офицер, производивший обыск.

— Как это не трогать? — сказала я. — Сапоги вы в протокол не занесли.

Мама дергала меня за рукав, но меня нельзя было остановить — я хотела знать, грабят ли деникинцы при обысках.

— С нами пройтись захотелось? — огрызнулся на меня офицер.

— С вами или без вас, но в штаб вашей армии за разъяснениями я обращусь, — отвечала я.

Обыск был окончен. Оружие и сапоги солдаты унесли с собой. Они ушли, я вступила в спор с мамой.

— Зачем они расклеивают объявления? Я пойду в штаб.

Я уже одевалась, когда зазвонил звонок. На пороге стоял только что ушедший офицер. Он протягивал мне сапоги.

— Простите, — пробормотал он, — я не должен

был их брать, но знаете... престиж перед подчиненными.

Хорош престиж, штаба испугался, жулик!

Белыми был занят город, белыми была занята округа. Стремительным маршем шли они на Орел, к Туле. А я ни в чем не могла разобраться. Ни эсеров, ни с.-д. с ними, конечно, не было. По улицам были расклеены плакаты «Вся власть Учредительному собранию», а пока... В самом Курске ни бесчинств, ни ужаса, собственно, не было. Коммунистов арестовывали, вызывали на допрос маму, ее допросили и отпустили домой. Внезапно арестовали Раину мать. Мы очень встревожились. Но к концу дня вестовой принес от нее записку. Она сообщала, что впредь до выяснения дела содержится в номерах бывшей гостиницы. Просит прислать халат, ночные туфли, полотенце, зубную щетку. Мы успокоились. Через неделю и она вернулась домой. Все сходило как будто бы гладко. Но жизнь не шла. Я хочу сказать, общественная жизнь. Все было захвачено военщиной. Мы были, так сказать, прифронтовой полосой. В Курске, в доме моей подруги, жила учительница немецкого языка с сыном. Муж ее, эсер, еще при царизме был приговорен к смертной казни. Ему тогда удалось бежать и в 1905 году он эмигрировал в Англию. Ольгу Афанасьевну мы любили, с сыном ее, старшим нас на два года, были дружны. Сева учился в политехническом институте в Петрограде. Во время войны он был призван, окончил военное училище и был отправлен на фронт в качестве офицера. С революции мать ничего не знала о сыне. Теперь она получила от него письмо. Сева писал, что сражается в рядах белой армии, что он получил отпуск и приедет повидать-

ся с матерью. Нас ошеломило то, что Сева, которого мы считали революционно настроенным, мог оказаться в рядах белых. С нетерпением стала я ждать его приезда. Я думала, что он многое поможет мне уяснить.

Севу мы дождались. Увы, он ничего не мог растолковать нам. Сева говорил, что ушел к белым потому, что с офицеров срывали погоны, потому что честь офицерская была поругана, потому что он остался верен присяге.

— Мы ушли в белую армию, — говорил Сева, — потому что она стояла за Учредительное собрание, потому что всякая власть должна быть правомерна, потому что на фронте мы нагляделись достаточно хаоса и разгильдяйства, граничащего с изменой. Нас подозревали, нам не доверяли, оскорбляли и продавали. Потому, наконец, что нам дорога честь нашего оружия.

Все эти аргументы не доходили до нас. Нас интересовало, что несет белая армия народу. Сева уклонялся от наших вопросов. Он твердил лишь о задаче белой армии освободить Россию, довести до Учредительного собрания, которое определит судьбу народа. Наверное, как офицер белой армии, Сева и не мог нам больше ничего сказать. Но нам казалось, что сам он разочарован в белом движении, живет в нем по инерции. На вопросы о еврейских погромах, о зверствах, о порках в деревнях он отвечал уклончиво.

— Командование все это преследует, старается искоренить, многое зависит от воинской части, которая занимает город.

Он говорил и о героизме русского офицерства. От него впервые услышала я об офицерских батальо-

нах и психических атаках, когда с тросточками в руках сомкнутыми рядами шли офицерские батальоны на красноармейцев. Убитые падали, живые смыкали ряды. С улыбкой и песней шли они безоружные, и красноармейцы не выдерживали атак. Но Сева говорил и о пьянстве, о разложении. Сева не осуждал белую армию. Он повествовал. Из его повествования я делала свои выводы. Белое движение стало представляться мне беспочвенным, разношерстным, обреченным на гибель. Никакой единой идеи, воодушевлявшей всех его участников, не существовало. Сева провел в Курске какую-нибудь неделю и, как мне казалось, без энтузиазма уехал на фронт к своей части.

При белых мы жили замкнуто, и все же мне пришлось столкнуться с еще одним белым офицером. Этот занимал крупный командный пост. В Курске жила семья обрусевших немцев. Были они людьми очень богатыми. Дочь их Валя, очень изящная барышня, какими-то путями подружилась с моей подругой и бывала у них в доме. Иногда я с ней там встречалась. Большевиков, как и прочих социалистов, Валя не любила. Но когда в дом их был вселен большевик, занимавший важный военный пост, между Валей и этим военным завязался роман. Мне Валя представила его как своего жениха. Всем нам он очень не нравился. Поражало нас то, что Валя связала свою судьбу с большевиком, да еще военным.

Я уже говорила, что в центре коммунистической обороны Курска оказалась измена. Когда Курск был занят белыми, я встретила Валю с ее женихом на улице. Был он в офицерской форме и со знаками отличия, с орденами. Он оказался одним из тех, кто

выполнял деникинские задания в тылу у красных. Наверное, нужно много мужества для такой работы, но мне этот человек был неприятен раньше, я не могла понять, как могли доверять ему большевики. Со слов Вали, он тоже говорил о верности Учредительному собранию, избранному по «четыреххвостке», но насколько я верила искренности Севы, настолько я не доверяла этому человеку.

Личные наблюдения за период пребывания Деникина в Курске дали мне возможность прийти только к одному выводу — никакие социалисты, эсеры в частности, не шли с белым движением. Большевистской прессе я теперь не верила настолько, что считала вымыслом существование в зоне России, занятой англичанами, эсеровского правительства, созданного оторвавшейся от партии группой правых эсеров. К сожалению, в существовании такового я убедилась значительно позже. Я даже встретила в тюрьме одного из участников этого правительства Алексея Алексеевича Иванова. Об этом позже.

Очень недолго продержались белые в Курске. Развал, пьянство, безыдейность, оторванность от населения страны — все вело их к гибели. Реорганизованная за это время армия большевиков так же стремительно погнала их на юг, как они пришли. Во время пребывания деникинцев в Курске ими, кажется, не было совершено особых зверств. Зато их отступление было ознаменовано страшной трагедией. Боя в городе не было, но паника была. С Деникиным бежали многие представители буржуазии. С чемоданами, котомками, сумками спешили беглецы покинуть город. Заключенные в тюрьму арестанты не были вывезены, но и не выпущены из тюрьмы белыми. Когда белых в городе уже не было,

последний казачий отряд ворвался в тюрьму и изрубил заключенных. Слух об этом быстро разнесся по городу. Многие шли в тюрьму опознавать зарубленных. Не сказав дома ни слова, моя мать тоже пошла в тюрьму. Домой маму привезли на извозчике. Почти на руках снесли мы ее и уложили на диване в столовой. И тут мама ничего не сказала нам. Задыхаясь, с сердцебиением лежала она и думала о том, не был ли тот изуродованный женский труп, который она видела, ее дочерью. В это время Дутя, спеша, подходила к дому, мучаясь мыслью о том, что сделали белые с ее родными. Я стояла в столовой у окна. Сестру я увидела неожиданно для себя. Я не сразу узнала проходившую мимо окон, одетую в шинель и папаху сестру.

— Дутя пришла! — крикнула я и бросилась открывать парадное. Я не знала маминых мыслей и не могла знать о том, что значило для мамы мое восклицание. Арест Димы, посещение тюрьмы и опознавание трупов стали роковыми для мамы. Сердце стало отказывать ей при малейшем волнении или переутомлении. А жизнь несла одни тревоги.

Возвращение большевиков в Курск. Смерть мамы

Большевики ознаменовали свое возвращение диким террором. Собственно, преследовать им было некого. Все, кто так или иначе были связаны с белыми, бежали вместе с ними. Но они подозревали всех и каждого. Обыски и аресты шли повально.

Большевики реорганизовали армию. Шла мобилизация. Для мобилизации крестьянства в села выез-

жали комиссии. Нередко крестьяне избивали членов комиссии. Под всякими предлогами врачи отказывались выезжать на комиссии.

Маме было уже 52 года. Ее никто не мог обязать ехать в село. Ее никто и не посылал. Но зная, как опасны эти поездки, как стараются все врачи избавиться от них, мать моя сочла для себя обязательным наравне с другими членами общества врачей, в котором она состояла, ехать. Она не захотела воспользоваться привилегией возраста. Все мы старались удержать ее, но мать поехала. Ровно через неделю, больную, на крестьянской подводе привезли ее домой. В помещениях, где проходила мобилизация, в избах, в которых приходилось ночевать, было нетоплено. Мама заболела воспалением легких. Дни и ночи дежурили мы у маминой постели. Болезнь она перенесла, но поправиться уже не поправилась. Сердце отказывалось работать. Ходя по комнате, она начинала задыхаться. Кое-как пережила она зиму. На лето мы свезли ее в санаторий в семи верстах от Курска. Улучшения не наступало. К тому времени мы жили вчетвером — папа, мама, Дима и я. Аня жила в Курске же, но не с нами, а при детском доме, в котором работала. Дутя вскоре после возвращения уехала к мужу, рабочему-печатнику и коммунисту, в Москву. Ася работал врачом в Луге. Последней мечтой мамы было повидать брата и сестру. Но почтовая связь была так затруднена, что и сестра, и брат опоздали. Оба они приехали после маминой смерти.

Тяжело дались мне эти дни. Папа был малоподвижен. Дима был еще мальчик. Я должна была под-

держивать их в горе и устраивать все по похоронам. Хоронить было сложно. На все нужно было получать разрешение и справки: разрешение на получение досок для гроба, разрешение на изготовление гроба, разрешение на получение лошади и саней, разрешение на рытье могилы. Все решала я. Я же решила хоронить маму без попа, без церковного обряда. Все церковные обряды казались мне кощунством над гробом матери. Как могла, скрасила я простые розвальни, покрыв их ковром. Простой, из некрашеных досок гроб стал на них. Рядом с гробом усадили мы с Димой отца. Он хотел проводить маму на кладбище. Шесть-семь самых близких нам людей шли за гробом.

На кладбище, когда гроб опустили в могилу, Эмма Ильинична, бросив горсть земли, вторую подала моему отцу. Как всегда, опираясь на костыли, на коленях стоял отец у могилы. Высвободив от костыля одну руку, он взял в нее горсть земли и бросил ее. Неверная рука дрогнула, ком полетел в сторону. И папа поник на своих костылях, из глаз его потекли слезы.



Дима учился. Я давала уроки. Папа то болел, то чувствовал себя лучше. Тяжело жилось нам, да и всем вокруг жилось не легче. Никто не жил на заработанные деньги. Одни спекулировали, мешочничали, другие продавали свои вещи, одежду. За урок я получала поллитра молока в день и какое-то количество крупы или муки.

Помню, мы выменяли какому-то крестьянину комод. За него получили два мешка гороха. Этот горох

долго выручал нас. Отапливали мы наше помещение деревьями из сада, которые нам разрешил рубить хозяин дома. При рабфаке, в котором учился Дима, была организована домашняя столовая, в ней мы брали обеды. Помню, еще во время маминой болезни я выменивала для нее постоянно яблоки. Связь с тем богатым крестьянином, у которого я брала их, сохранилась. Часто, приезжая на базар, он заворачивал к нам и предлагал выменять у него мясо, яйца, масло.

В один из приездов мой крестьянин стал сватать меня за своего сына. Со смехом рассказала я об этом сватовстве подругам.

— Катя, сватайся, пусть возит подарки. Они думают, что все можно за муку выменять. Даже жену. И пусть. Потом скажешь, что раздумала!

Мне тоже был отвратителен гонор крестьян тех лет, когда они, презирая голодных горожан, драли с них по три шкуры, но играть в сватовство мне не хотелось.

Подруги мои решили иначе. За крестьянского сына они решили сватать Соню. Игра началась. Дозволенной мы ее считали потому, что уж слишком отвратительны были зарвавшиеся спекулянты, к которым относился и наш крестьянин:

— Городскую жену ему, пусть и по-французски разговаривает!..

Подруги веселились. Жених приезжал на смотрины. Соня прогуливалась перед ним в разных платьях, своих и чужих, и по-французски говорила, и на рояле играла. Жених восторженно пожирал ее глазами и подарки возил мешками.

С товарищами Димы у меня были очень хорошие взаимоотношения. Возрастная разница между мной и Димой была в шесть лет. За время маминой болезни и после маминой смерти я заботилась о нем, и его товарищи привыкли со всеми своими заботами и нуждами обращаться ко мне. Заходил ли спор о прочитанной книге, требовалась ли помощь при постановке любительского спектакля, я была их всегдашним советчиком и помощником. Но одну свою проделку ребята скрыли от меня. Скрыли потому, что не хотели замешать меня в очень опасное, с их точки зрения, дело.

Опять приближался май. Опять город готовился к празднованию. Я в эти годы стояла очень далеко от всякой общественной работы. Мне было грустно, тоскливо, обидно стоять в стороне от майских приготовлений, но принять в них участие, не поступившись совестью, я не могла. Да и не праздник народный близился, а казенное, государственное торжество.

Ребята с возмущением рассказывали, что из отдела народного образования прислали им ряд лозунгов, которые было велено написать на знаменах.

— Хотя бы для вида предложили выбрать, какой плакат мы хотим нести! А явка на демонстрацию обязательная!

1 мая в часы демонстрации я сидела дома. Я нигде не работала, и меня никто под страхом увольнения не мог заставить демонстрировать. Все митинги, все собрания, все демонстрации в те годы были принудительны.

Как сговорились ребята? Кто надоумил их? Но в кармане у каждого ученика оказалась узкая полоска кумача. На площади, когда их колонна поровнялась с трибуной, на которой стояли власти города, принимавшие парад, ученики бросили под ноги казенные полотна, красной полоской кумача перевязали они свои рты и в полном молчании прошли мимо трибуны.

Об этом их подвиге я узнала спустя, огласки этому событию не было. Что могли предпринять отцы города с детьми, когда все вокруг было задушено и подавлено. Начальство школы получило суровую отповедь. Но за него ученики не волновались. Лучшие, любимые были давно отстранены от педагогической работы. Дело воспитания и обучения детей было передано в руки тех, кто принял указку сверху. Членов партии среди педагогов не было, подслуживающихся и выслуживающихся было полно. Ученики чувствовали это и не уважали своих учителей, не верили им. Распущенность в школах росла, успеваемость падала. Созданные в начале революции комитеты учащихся были распущены или потеряли свою роль, расшатав уже учительский авторитет.

В середине учебного сезона учитель математики на рабфаке, где учился Дима, серьезно заболел. Заменить его было некем. Свободные часы ученики болтались одни. На педсовете было решено пригласить человека, который заполнил бы чем-то пустые часы. Неожиданно для всех ученики выдвинули мою кандидатуру. Ни педагогического образования, ни опыта у меня не было. Учительский совет высказался против, но ученики настаивали, родители настаивали взять хоть кого-нибудь — меня взяли.

Чем могла я занять ребят? Я обратилась к русской литературе. Мы читали Короленко, Горького, Куприна... Выбирала я такие рассказы, которые, с моей точки зрения, задевали острые вопросы, могли вызвать споры. Обычно так и бывало. Из бесед с Димой и его друзьями я знала, какие вопросы их интересуют, задевают за живое. Спорам и обсуждениям не было конца. Они продолжались и после урока, на переменах. Конечно, на уроках моих и помина не было материалистических и марксистских догм. Не применялся и формальный метод при изучении литературных произведений. Я оказалась не ко двору. Особенно ратовал против меня преподаватель русского языка. Он говорил, что я нарушаю метод преподавания русской литературы, прививаю ученикам неправильный подход к литературному произведению, приучаю их следить за фабулой и отвлекаю от образного мышления автора, то есть от самой сути художественного произведения. Упреки сыпались и из-за того, что я не даю экономического анализа эпохи, не вскрываю классовой сущности героев и т. д. Все же я продержалась на работе до летних каникул.



Извещение о маминой болезни Дутя и Ася получили одновременно с сообщением о смерти мамы. Оба они рвались к нам, но жизнь задерживала. Первой приехала Дутя. Она работала теперь в Москве заведующей научной частью зоопарка. Жизнь в Москве была трудной, не хватало питания для людей, не то что для животных. Не хватало отопительных материалов, работать было тяжело. Понимая наше тяжелое положение, Дутя звала нас в Москву.

Папа не хотел и слушать. До тех пор, пока Дима мог учиться в Курске, никакой речи о переезде с отцом вести было невозможно. К тому же между нами троими: отцом, братом и мной были слишком большие расхождения во взглядах с Дутей, чтобы мечтать о совместной жизни.

Брат — в партии победителей!

Ася приехал летом того же года. Его приезд нанес мне большой удар. Ася вступил в партию большевиков.

Страна раздиралась на части, на части раздиралась и наша семья. Я с детских лет очень любила брата, он был для меня почти кумиром. Жестоким разочарованием было для меня его поведение в студенческие годы, его вторичное поступление в Медико-хирургическую академию, находившуюся под бойкотом. Затем огорчило какое-то аполитичное настроение в первые годы революции. В Учредительное собрание брат голосовал за список народных социалистов. На мой возмущенный вопрос, почему за них, а не за социалистов настоящих, он заявил, что они де будут, конечно, в меньшинстве, а он считает, что и меньшинство должно быть представлено в парламенте, должно иметь возможность защищать свои позиции.

Почему же теперь, именно теперь, когда власть была завоевана партией, которая подавляла всякое иное мнение, он вступил в нее?

Я знала из писем, что брат вместе с женой и только что родившимся сыном эвакуировался из Луги во время наступления Юденича. Я знала, что во

время эвакуации умер его сын, что на одной из станций он с трудом нашел священника, чтобы похоронить ребенка. Читая письмо о похоронах, я очень сочувствовала брату, но не понимала, зачем ему так нужен был похоронный обряд со священником. Сколько времени прошло с тех пор? Полгода, ну, пусть даже год. И передо мной стоял коммунист. Что привело его в партию победителей? Карьеризм? Жажда деятельности? Стремление к материальному благополучию? От всех разговоров на политические темы брат уклонялся. Жена его, когда мы оставались наедине, говорила об огромной организационной работе по здравоохранению, проведенной братом в Луге, о разрушении всего созданного им во время пребывания Юденича в городе, о трупах честнейших людей Луги, висевших на фонарных столбах, о безустанной работе брата по восстановлению всего разрушенного, о ненависти его к разрушителям. Она говорила:

— Мне кажется, что Ася стал коммунистом потому, что это ему нужно для дела, для работы. Так ему легче добиваться осуществления своих планов. И мне кажется, он становится все больше коммунистом, чем врачом. Он обложился книгами. Вы бы посмотрели его библиотеку! Вся марксистская литература! Он больше времени отдает общественной деятельности, чем врачебной, и это жаль. Все окружающие считают его очень талантливым врачом. Теперь его назначают заместителем заведующего здравоохранения в Ленинграде. Заведующий сам не врач, значит на Асины плечи ляжет уйма организационной работы, а медицина будет в стороне.

Ни в чем не пытаясь убедить ни меня, ни отца, Ася говорил:

— Прежде, чем лечить, надо создать условия, при которых уменьшится число заболеваний. Созданием этих условий заняты большевики, и мне поручен участок этой работы. Я чувствую, что могу что-то сделать в этом направлении и работа меня увлекает.

Ася пробыл у нас недолго, он спешил в Ленинград. За свое пребывание у нас он несколько раз внимательно осмотрел отца. Перед отъездом он сказал мне:

— Очевидно, в связи с общим потрясением организма во время катастрофы у папы началось перерождение печени. Процесс этот может идти очень медленно, но может и принять острую форму. При медленном течении отец может прожить долгие годы. Полиневрит мышц рук надо полечить в больничных условиях.

Папа ложиться в больницу не хотел. Его, конечно, очень тяготило затрудненное движение рук, он с трудом держал ложку, с трудом перелистывал страницы читаемой книги. Мнение брата, что больничное лечение может восстановить деятельность мышц, помогло уговорить его лечь в больницу.

Арест отца

Все уже было оформлено, и завтра мы должны были положить отца в больницу. Последний день мы собирались провести вместе, как вдруг, часов около двух дня, в парадное застучали. Я открыла дверь. Передо мной стояли три чекиста. Отстранив меня, они вошли в переднюю и закрыли за собой дверь. Только тогда протянули они мне бумагу.

Я не верила своим глазам: это был ордер на арест отца. Папа по обыкновению сидел в своем кресле и читал. Увидев вошедших, он как-то поник, совсем изменился в лице.

— Папочка, — кинулась я к нему, — здесь какая-то ошибка. Они пришли с ордером на арест на твое имя.

Папа сразу как бы воскрес, повеселел. У чекистов же, увидевших, кого они пришли арестовывать, сразу помрачнели лица. Обыск они произвели быстро и поверхностно. Конечно, они ничего у нас не нашли и ничего не изъяли. В протоколе обыска им нечего было писать.

— Собирайтесь, вы должны последовать с нами, — как-то неуверенно сказал один из них.

Папа насмешливо взглянул на него.

— Нет уж, собирайте вы меня. Вы же видите, что я без ног.

Чекисты растерянно совещались. Затем один из них вышел и позвал извозчика. Папа спокойно сидел в кресле. Мы с Димой молча стояли рядом. Брать что-либо с собой отец отказался.

— Что же, несите меня, — сказал он.

Чекисты подошли, взяли отца на руки и понесли. Мы с Димой шли рядом. Папу усадили в экипаж. Он обернулся к нам и весело сказал:

— Будьте молодцами!

Не знаю, как описать то чувство, с которым я вернулась в нашу опустевшую квартиру. Что можно сделать? Всего, кажется, могла я ожидать, но... ареста отца?!

Сначала мы с братом растерянно слонялись по комнате. Потом я побежала к Ане, к друзьям. Все были так же ошеломлены, как и я. И не знали, что мне посоветовать.

День шел к концу. Ясно было, что сегодня я уже ничего не смогу добиться. Надо было ждать утра, а я не могла себе представить, как папа — безногий, больной папа проведет ночь в охранке. Друзья хотели пойти со мной, но я прогнала всех. Вдвоем с братом мы сидели и думали, не зажигая света. Было уже почти темно на улице, когда позвонили. Я вышла. Открыла дверь. Перед дверью стоял на коленях отец и смеялся. А извозчик, сопровождавший отца, отъезжал в сторону.

Шесть часов просидел отец в ЧК, ожидая следователя. Следователь увидя отца, выразил полное недоумение. Он говорил о каком-то клеветническом доносе, о явном недоразумении. Кто донес и в чем заключался донос, отцу выяснить не удалось. В те годы вообще арестовать человека ничего не стоило. Папа смеялся:

— Поносили они меня! А уж в дом, я сказал, зайду сам.

Наутро мы отвезли папу в больницу.

Мы с Димой остались вдвоем. К нам постоянно приходили мои и его друзья. Но отца нам очень не хватало: и нам, и нашим друзьям. Несмотря на все пережитое, несмотря на инвалидность и постоянные боли, отец сохранил живой интерес к жизни, а при его широких познаниях беседы с ним всегда были интересны, и мы прислушивались к его мнению.

Соглашатели и идейные

Без папы произошло одно событие, взволновавшее меня. Я уже упоминала не раз о Матвее Рождественском. Был он на год моложе меня, вместе с нами

принимал самое горячее участие в студенческом движении до революции и после революции. В 1917 году, во время раскола партии эсеров, он ушел к левакам. После Октябрьской революции занял в Курске пост комиссара земледелия.

Брестский мир привел к разрыву между леваками и коммунистами. Леваки ушли в подполье. Их стали арестовывать и преследовать, как и других социалистов. Матвей некоторое время скрывался в Курске. Перед приходом деникинцев он бежал из Курска. Теперь он вернулся обратно. Растеряв «левацкие» партийные связи, не имея никаких твердых политических установок, кроме общего неприятия программы и тактики большевиков, Матвей, конечно, не представлял никакой опасности для властей. Его не за что было преследовать, да никто и не думал его преследовать. Но его прошлая принадлежность к партии с.-р. волоклась за ним. Устройство на работу было осложнено. При поступлении на работу, да и уже принятые на работу, — периодически должны были заполнять анкеты. Вопросов в анкетах было много: и о социальном происхождении, и о занятиях родителей, и о том, чем занимался сам, заполняющий анкету, в течение ряда лет, был, конечно, и вопрос о принадлежности в настоящем или в прошлом к политической партии.

У Матвея все анкетные данные были неважные. Отец его был священником. В 1917-1918 годах он сам принадлежал к партии эсеров, а затем левых эсеров. По образованию — юрист, Матвей мечтал об адвокатской деятельности. Для этого ему нужно было быть принятым в Коллегию защитников.

Мы часто спорили с Матвеем. Он утверждал, что в наше время можно честно работать в области ад-

вокатуры по гражданским делам. Я в это не верила. Даже быть принятым в Коллегию защитников было невозможно для лиц «не вполне благонадежных», то есть не по-марксистски, не по-большевистски мыслящих.

Как-то утром ко мне зашла Оля. У меня был кто-то из знакомых, а я почувствовала, что ей надо поговорить со мной наедине. Я вышла с нею в садик. Оля сказала:

— Матвей сдал в редакцию «Курской правды» письмо о выходе из партии левых эсеров.

Еще не осмыслив всего сказанного, я была потрясена. Оля увидела это по моему лицу. Она говорила:

— Матвей долго колебался, но раз он действительно разошелся с левыми эсерами, почему не заявить об этом открыто.

— Почему же он тогда колебался? — спросила я.

— Мы вчера приходили к вам. Матвей написал письмо и хотел знать ваше мнение, твое и Льва Степановича. Вас не было дома, и вот прямо по дороге домой мы письмо занесли в редакцию.

— И что же, он в нем кается? — спросила я.

— Нет, что ты! Он просто пишет, что не состоит в партии эсеров, так как считает ее позиции неверными.

— Может быть, он разъясняет в нем, в чем ошибочность этих позиций? Или признает правильность позиций большевиков? Пусть же скажет, в чем он не согласен, чтобы всем стало ясно, каковы его современные установки. Сейчас, когда партия, к которой он принадлежит, подвергается гонению, когда в защиту своих позиций она не может сказать ни слова, когда его бывшие товарищи сидят за свои убеждения по тюрьмам, Матвей заявляет, что

он не согласен с их установками только потому, что хочет обеспечить себе спокойное существование и, может быть, служебную карьеру. Возможно, это только первый житейский компромисс, но не поможет он ему ни чуточки, придется ему идти дальше.

С детских лет я знала Максима Григорьевича Тололовского. Маленького роста, коренастый, с некрасивым, неправильным, но таким добрым и ясным, часто нам, детям, улыбающимся лицом. Был он врачом-психиатром, жил небогато. Я не знала, что он был с.-д. В годы войны и первые годы революции Максим Григорьевич работал главным врачом и заведующим колонией для малолетних преступников. Дети, находившиеся в колонии, были детьми бедноты. В большинстве своем это были дети отсталые, дефективные, малоразвитые. До прихода Тололовского в колонию, она мало чем отличалась от тюрьмы. Максим Григорьевич совершенно преобразовал ее. Им были созданы в колонии мастерские, изменен режим, сняты с окон решетки. Дети колонии так же любили его, как любили его мы. Всего себя отдавал он своей работе. За свои убеждения Тололовский был снят с работы и отправлен в ссылку в Архангельск. В ссылке он умер. А колония? Колония развалилась. На его место не нашлось Макаренко. Юные преступники не захотели признать нового руководителя. Начались репрессии, за ними побеги. Колония снова превратилась в тюрьму.

Может быть, больше всего меня возмущало то, что на поверхность жизни всплывали люди беспринципные, готовые служить и вашим, и нашим, и на них опиралась власть. Этих людей интересовали личные блага. Как бы самим устроиться, самим по-

пользоваться. Им было чуждо рабочее движение. Тех же, чья жизнь была связана с интересами народа, тех кто шел за свои идеалы в царские тюрьмы и каторги, теперь снова арестовывали и ссылали.

Уезжали! Бежали из Советского Союза — Толстой, Горький. В молчании погибали Короленко и Блок. Из библиотек изымались Михайловский, Толстой, Достоевский, Кореев. Переделывалась, перекрашивалась вся история России. Декабристы, на которых мы молились в детстве, оказались мелкобуржуазными идеологами, как и идеология народовольческого движения. А все последующие деятели русского революционного движения зачислялись во «враги народа», оказались наймитами буржуазии.

Страна утопала в море противоречий, погибала в лишениях. Сельскохозяйственная продукция, дай Бог, составляла половину довоенной. Промышленное производство едва ли достигало 70% от довоенного уровня в отсталой царской России. Жизнь становилась «пещерной», но никто не смел об этом говорить.

Вышла чудная книжечка рассказов Е. Замятина, но его роман «Мы» уже не был разрешен к печати. Сочинения Пильняка были изъяты немедленно по опубликовании. То же случилось с написанной Булгаковым повестью «Роковые яйца».

4. ВРЕМЯ НЭПА

Чтобы вывести страну из тупика, коммунистической партии пришлось отказаться от прежней политики. «Военный коммунизм» уступил место «НЭПу». Пришлось допустить частника, пришлось допустить концессии иностранного капитала. Оказалось возможным договариваться со своей и международной буржуазией. Но пойти на компромисс со своим и западно-социалистическим движением и договориться с ним коммунисты не могли. Идейная нетерпимость росла и крепла.

Нарастающие разногласия внутри самой коммунистической партии душили страну. От свободы человеческой мысли не осталось и следа. Я задыхалась в Курске. В его обывательской, затхлой атмосфере вся изнанка жизни выпирала и лезла в глаза, мешала жить. Все лучшие люди покидали Курск. А те, кто оставался, молчали и раболепствовали. Мне казалось, что в больших центрах еще идет живая жизнь. Может быть, так плоско, так уродливо, так вульгарно преломляется жизнь только у нас в провинции.

Трудно писать о глухом времени. Когда мы подрастали, мы сталкивались с противоречивыми мнениями, кипели страсти. Нарастали новые веяния во всем — в философии, социологии, идеологии. Издавалось бесконечное количество журналов, газет, книг различных направлений. Сейчас ничего этого не было. Марксизм, материализм... да и то в одной интерпретации Ленина, а нравственность и мораль

объявлялись пережитками капиталистического общества, надстройкой над производственными отношениями.

Мне хотелось увидеть хотя бы настоящих, идейных большевиков, людей новой морали. Ведь были же такие!

Переезд в Москву

Весной 1922 года Дима окончил рабфак при Курском пединституте. Институты в это время открывались повсюду. Курский институт был ужасным или показался он мне таким после петербургского университета. Где было взять преподавателей для вуза в Курске! Профессорами были назначены люди, сами не получившие высшего образования. Интереса ради я пошла послушать лекцию. Я попала на лекцию по зоологии. Читал ее толстый и розовощекий ветеринарный врач. Лекция шла о ракообразных. Впрочем, всей темы лектор коснулся вскользь. Он детально остановился на всем известном, как он выразился, речном раке. Последнего он смаковал и в вареном виде и в виде ракового супа. Он объяснял слушателям, что самая вкусная часть рака, именуемая «раковой шейкой», вовсе не шейка, которой у рака нет, а хвост и что клешни — хватательные инструменты — при высасывании тоже отличаются приятным вкусом. В общем, мне показалось, что я сижу на лекции по кулинарии. Бумажку, свидетельствующую об окончании, вуз мог дать, — но только не знания.

И я, и Дима стали убеждать папу переехать в Москву, где Дима смог бы поступить в университет. Папа колебался. Конечно, ему хотелось дать Диме возможность получить образование. Дима мечтал о

вузе. Окончание рабфака давало ему возможность поступить в вуз. Папа, Дима и я жили очень дружно, и переезд к сестре страшил нас. Но Дутя обещала нам помочь в нахождении своей, отдельной квартиры. Обещала она мне помочь устроиться на работу — это было в те годы нелегко. На первых порах мы должны были все же жить у нее. Папу это особенно тяготило. Отец и Дутя, очень сходные характерами, всегда плохо уживались. Отец боялся зависимого положения. Мы же с братом верили в свои силы, верили, что сумеем устроиться независимо. Отец поступился всем во имя Диминой учебы, и переезд был решен.

Сперва должны были ехать отец с братом. Я задержалась для окончательной ликвидации квартиры и отправки вещей. Переезд для отца был очень тяжел. С минимумом багажа проводила я их на вокзал, усадила в вагон. В Москве их должна была встретить сестра. Я же стала стремительно ликвидировать курское жилье. Мне не было жаль ни Курска, ни нашей квартиры. Не задумываясь о ценах, распродавала я все, что можно было продать, раздавала остающееся друзьям. Жаль мне было только картины и книги. Картины все были написаны отцом в долгие зимние деревенские вечера. Мама украшала ими нашу квартиру. Все это были пейзажи — копии с картин Левитана, Шишкина, но были и зарисовки с натуры — виды нашего Сорочина и его окрестностей. Особенно дорога мне была последняя написанная отцом картина. У нас дома она называлась «Революция». Изображен на ней был восход солнца. Небо в разорванных клочьях туч, пылающее от первых лучей восходящего солнца. Тревожно горит небо, и красные отблески ложатся на мятущиеся, гнущиеся от ветра деревья и кустарники, на

всклокоченную траву. Несколько картин, в том числе и эту, я взяла с собой.

Книг у нас было очень много. Накапливались они десятилетиями. Всевозможные журналы, полные собрания сочинений классиков. Все лучшее, что было в русской литературе, имелось в нашей библиотеке. Книги представляли огромную ценность сами по себе, не говоря уже о том, что в наши дни их нельзя было достать ни за какие деньги. Они не переиздавались и частично были изъяты из библиотек. Два больших сундука набила я книгами. Перевезти книги завещали мне, уезжая, отец и брат.

Последняя вечерка с друзьями. С цветами и пожеланиями проводили меня друзья на вокзал, не много их осталось в Курске, жизнь всех раскидала по свету.

В Москве на вокзале меня встретил Дима. Веселый, радостный, он показался мне как бы выросшим, в первом штатском костюме, подаренном ему сестрой. Тысячей новостей, рассказов засыпал он меня. Каждая оканчивалась фразой — «Сама увидишь!» Все это были обрывки его впечатлений от новой жизни. Больше других сообщений меня обрадовало то, что у сестры живет тетя Аня с сыном.

В Москве с квартирами было очень трудно, нам сестрой была выделена изолированная комната с отдельным ходом, с окнами, выходящими на застекленную веранду. Сестра моя заведовала научной частью Московского зоологического сада. Муж ее, Степан Васильевич, заведовал его хозяйственной частью. Их казенная квартира находилась в самом центре зоосада, в чудесном домике рядом с конторой. Состояла она из трех комнат с верандой. В коридоре, светлом и широком, помещалась наша общая столовая. Дверь из нее вела в отданную нам

комнату, вторая наша дверь выходила на террасу. Лучших условий для отца нельзя было представить. Прикованный к креслу, он летом целые дни проводил на террасе.

Все ждали меня, все радостно встречали меня. Папе меня очень не хватало. Дутя просила:

— Катя, не спеши с устройством на работу, помоги мне. Ведь семья у нас теперь большая, ты нужна отцу, будешь помогать по хозяйству. Я сейчас очень занята и жду ребенка.

Тетя Аня говорила:

— Катюша, я помогала Дуте, пока не было тебя, теперь я с сыном буду столоваться отдельно, ты должна взять на себя хозяйственные заботы.

Пьерик и Дима тащили меня к озеру — смотреть зверей.

Очень приветливо встретил меня муж сестры. Был он рабочим-печатником. В Курске при первом знакомстве он возбудил во мне интерес. Это был первый, очень одаренный и развитой рабочий, с которым мне пришлось близко познакомиться. Урывками, еще там, мне пришлось с ним спорить на политические темы. Большевиком он был страстным и жил революцией. Теперь мы зажили под одной крышей. Мне показалось, что Степан Васильевич хочет переубедить меня, оторвать от моих социалистических настроений, привести к признанию правоты коммунистов.

Идеи!.. Конечно, я ничего не могла возразить против прекрасных идей, проповедуемых коммунистами. Но претворение их в жизнь!.. Жизнь, живая жизнь сегодняшнего дня разубеждала меня на каждом шагу. Разубеждал и Степан Васильевич своим поведением, своими моральными установками.

Власть многим вскружила голову. Вскружила она ее и Степану. Желая продемонстрировать мне, что власть теперь принадлежит рабочим, он в первый же день, слегка подвыпивший, вместе со своим приятелем, тоже коммунистом, занимавшим крупный хозяйственный пост, повез меня на казенной машине осматривать Москву. Машин тогда было очень мало. Бензина не хватало. Мне казалось неудобным разъезжать на начальнической машине прогулки ради. Но отказаться я не сумела. Мне неловко было отвергнуть явную любезность. Результат этой поездки был невероятный и страстно желаемый мной.

Процесс 1922 года над эсерами

В Москве 1922 года шел процесс над эсерами. Все газеты были полны сообщений — обвиняли эсеров во всех смертных грехах, обливали всеми помоями, какие только могли измыслить. Вандервельде, приехавшего, чтобы защищать обвиняемых, встретили такими демонстрациями протеста, что он уехал, отказавшись от защиты. Я конечно, не верила ни одному газетному слову. Для меня было достаточно таких имен, как Гоц и Веденяпин, окруженных ореолом борьбы с царизмом за дело народа, чтобы благоговеть перед подсудимыми.

Процесс над эсерами шел в Колонном зале. Процесс был открытый, но публика пропускалась только по билетам, распространяемым профсоюзами. Достать билет не было никакой возможности. И что же... мои спутники, агитируя меня, обещали достать билет на одно из заседаний суда. Они были уверены, что судебное заседание убедит меня в виновности подсудимых. Я не знала последних в лицо. Де-

лились они на две группы. Одна защищалась, другая, перейдя на сторону судей, давала обвиняющие подсудимых показания. Я знала, что на скамье подсудимых сидят почти все члены ЦК с.-р. Возглавлял суд Пятаков. Я не слышала речей, но я видела, что подсудимым не давали возможности говорить, защищать себя. Держали они себя достойно и уверенно. Грозила им смертная казнь. Это знали все. Знала и я. Что речи их смелы, правдивы и искренни, в это я верила, и им не давали говорить, потому что боялись их смелых и правдивых слов. Я ненавидела судей, отвратительным казалось мне худое, с острой бородкой лицо председателя суда. Его рука, звонящая колокольчиком, рука, не дающая говорить к смерти присуждаемым людям. Торжествующе взглянул на меня Степан Васильевич, когда я вернулась домой. Только о моем преклонении перед подсудимыми, перед их мужеством и смелостью говорила я. Конечно, билета на следующее заседание я не получила.

Подсудимые были приговорены к смертной казни. Москва ликовала. Тысячные митинги одобряли приговор суда, поносили людей, отдающих жизнь за убеждения. Правительство заменило смертную казнь десятью годами тюремного заключения. Погибли они потом.

Хищники и прихлебатели

НЭП процветал. Появилась новая категория людей — нэпманы. Они оказались необходимыми для подъема экономической жизни страны. Процветали магазины, в которых все можно было купить за золото, за денежную валюту, проводилась денежная ре-

форма. На фоне развивающейся жизни ошеломляла ужасающая безработица.

Степан Васильевич, как хозяйственник, должен был вращаться среди нэпманов, чтобы добывать товары для снабжения зоосада. С ними он пил, с ними, во имя уловления их нечистых сделок, развратничал. Раз в семь лет ложился он в больницу с циклическим психическим заболеванием. Сестра, горячо любившая его, страдала в личной жизни, неся последствия жизни общественной. Положение и впрямь было ужасным. По хозяйственной линии Степан Васильевич должен был вести дела с нэпманами, по заданию ЧК выявлять их неблаговидные сделки. Лицо и изнанка жизни. Роскошь и нужда. Сменились, может быть, персонажи, сущность была старая, давно знакомая — хищники, спекулятивные сделки, грабежи, скрытые и откровенные до наглости. Недаром расшифровывалось название «Высший совет народного хозяйства» — ВСНХ — «Воруй Смело Нет Хозяина». Реквизированные при обысках вещи нередко прилипали к рукам реквизиторов. Из уст в уста передавался анекдот о том, как инкогнито едущий представитель Советского Союза был сразу опознан в Англии, так как на трости его была монограмма «ЕД», на портсигаре «СК», на золотых часах «КБ». Нелегко было слушать такие анекдоты, потому что они не были анекдотичны.

А рядом с нэпом жила проституция. По Москве распевалась песенка:

Прямо в окно от фонарика
Падают света пучки.
Жду я свово комиссарика
Из спецотдела Чеки.

Вышел на обыск он ночию
К очень богатым людям.
Пара мильончиков нонче
Верно отчислится нам.

Все спекулянты окрестные
Очень ко мне хороши,
Носят подарочки лестные,
Просят принять от души.

Пишут записочки «Милая,
Что-то не сплю по ночам,
Мне Рабинович фамилия,
Нету ли ордера там».

Не для меня трудповинности,
Мне ли работать... Пардон...
Тот, кто лишает невинности,
Тот содержать и должон.

Степан Васильевич и другие хозяйственники вынуждены были вести дела с нэпманами. Спекулятивные, далеко идущие сделки приводили при разоблачении их к высшим инстанциям государства. И тогда... тогда дела закладывались под сукно.

Через подругу я много слышала о жизни поэтов и писателей, о препровождении ими времени в кабачках «литераторов». Вслед за ними подруга увлекалась их жизнью и ходила с раскрашенными ногтями на руках и ногах. Уход за телом. О крашеных волосах, бровях, губах и говорить нечего. Кажется, я одна не понимала, почему социально мыслящие люди, поклонники и последователи коммунистического движения идут в модах на выучку западноевропейской буржуазии.

Я не подтасовываю факты, так виделась мне Москва.

В эту пору Анка Большая, узнав о нашем приезде, зашла к нам. Я сразу ее узнала и потянулась к ней. Она не была так свежа и хороша, как в пору моего детства, но была все еще в расцвете женских чар и прелести. Она была подкрашена как большинство московских женщин, одета элегантно и изящно. Она была непринужденно весела, мила со мной, с отцом и с Димой. Без конца рассказывала она о своем муже. Нет, это был не герой ее юности! Он был человек хорошего происхождения, бывший барон Менгенштеерна, а сейчас занимал важную, ответственную должность. У них сын, годовалый очаровательный мальчик. Недалеко от нас, на Поварской, маленькая, но очаровательная квартирка, и няня у мальчика очень удачная. Анка сама не работает, но одна справиться с сыном и домом не может.

Анка расспрашивала нас обо всем. Она очень просила нас с Димой зайти к ней в гости. Она обещала поговорить со своим мужем о моем устройстве на работу. Может быть, с приисканием квартиры она тоже может помочь.

Дути во время Анкиного посещения дома не было. Вернувшись и узнав о посещении, она иронически улыбнулась. Да, Анка жена какого-то крупного чиновника, живут они богато. Муж ее бывший эсер, давший письмо с отказом от партии.

Первым моим желанием было забыть поскорее об Анке, ни в коем случае не просить ни о чем ее мужа, не видеть его. Дима был согласен со мной, но папа возражал.

— Она ваша двоюродная сестра, она разыскала

нас не потому, что мы ей нужны. Вам надо пойти и присмотреться к ней, к ее жизни. Может быть, не все так, как говорит Дутя. Вы даже можете объяснить, почему не находите нужным бывать у них.

Мы согласились с папой. Мы пошли к Анке, выбрав такие часы, когда муж ее должен был быть на работе. Анку мы застали одну. Очаровательная женщина в изящном халатике встретила нас в комнате — бонбоньерке. Кроме Анки, в комнате была няня ее прелестного сына, кокетливая, с нарядной белой наколкой на голове, в кружевном накрахмаленном передничке. Дитя спало в кроватке под кисейным пологом.

Анка радостно встретила нас. Она говорила обо всем, больше всего о своем сыне. О чем мы с Димой могли говорить с ней, да еще в присутствии няни. Вскоре явился и муж Анки, самый обычный и самый типичный представитель буржуазии и аристократии. Воспитанный, предупредительный... Все было понятно нам в этом мирке. И изящно сервированный стол, и вкусная закуска, и тонкое вино в хрустальных бокальчиках. Непонятным осталось, почему и зачем вступил когда-то Анкин муж в социалистическую партию, Что общего мог он иметь с социалистическим движением? Да и Анка Большая не подходила в жены революционеру. Нам было понятно, что он отказался от партии эсеров. Зачем ему было быть в стане гонимых? С иронией думали мы о ценном приобретении коммунистов.

На Пречистенских курсах

Осенью Дима был принят в институт. Я жила впустую, найти работу мне не удавалось. Безработица была очень велика. На бирже труда толпились

массы людей. Случайно я узнала, что на Пречистенских Курсах открывается филиал Сельскохозяйственного института и туда принимают без командировок от рабочих и советских организаций. Я подала заявление, запросила свои документы из Харькова, а пока приложила свою зачетную книжку. Было мне уже 23 года. Институт организовался заново, открывался всего один курс. И все же я была счастлива, попав опять хотя бы на I курс. Уйти в учебу, войти опять в студенческую среду...

Высшая школа за эти годы изменилась. Студенческий состав был другой, изменилась и профессура. Многие профессора были удалены. Программы были насыщены политэкономическими науками. Как отдельная дисциплина вводился исторический материализм. Советская Конституция заменила учение о праве и государстве, политэкономия сводилась к изучению «Капитала» Маркса. Изменились и учебные пособия. Штудировались «Азбука коммунизма» Бухарина, «Государство и революция» Ленина. Жизнью вуза заправляла партийная организация профессоров, коммунистическая организация студентов.

Институт, в котором училась я, был еще каким-то исключением из общего правила. Открыт он был по инициативе профессоров Пречистенского института, существовавшего еще в царские времена. Тогда он считался одним из либеральных институтов России. Теперь наш вновь открытый сельскохозяйственный факультет как-то выпал из сферы коммунистического влияния. Среди профессуры и студентов коммунистов почти не было. Студенческая ячейка нашего факультета насчитывала всего семь человек, да и те не отличались активностью. Остальное сту-

денчество вовсе не интересовалось общественной жизнью. Профессора у нас были очень хорошие, особенно Егоров, читавший историю.

Студенчество старательно штудировало указанные пособия, не внося никаких общественных мыслей, не затрагивая острых вопросов.

Помню три реферата, прочитанных у нас на курсе. Один из них принадлежал мне. Темы точно я не помню, что-то из истории развития арабского мира. Но помню, что я с увлечением готовилась к своему реферату. Тема была разбита на две части между мной и еще одним студентом. Мне досталась первая часть — истоки развития арабского мира. Часами работала я в Румянцевской библиотеке, собирая материал. Больше всего стимулировало меня в моей работе над рефератом желание утвердить равное значение влияния различных факторов на историю развития народов: географического, экономического, религиозного, политического.

Когда я прочитала свой реферат перед студентами, наступила тишина. Неоднократно предлагал профессор аудитории выступить по реферату, никто не произнес ни слова. Тогда профессор предложил заслушать вторую часть реферата. По ней открылись прения. В ней все было на месте. Диалектический ход развития общественной жизни... развитием производительных сил объясняются все этапы развития страны... На материальном базисе вырастали надстройки... Все было подтверждено цитатами из Маркса, Ленина. Прения по докладу развернулись уверенно, хотя слушался он с меньшим интересом, чем мой.

После доклада профессор задержал меня.

— С литературной стороны ваш реферат написан хорошо, и видно, что вы проработали большой материал, но вы, наверно, сами понимаете, что это не то, что нужно. Вы видите, никто из студентов не захотел выступить по вашему реферату. Нас интересует стержень экономического развития, развития производительных сил, а вы утопили его в общем ходе развития. Реферат ваш я принимаю, заострять на нем внимание не буду, но посоветую вам впредь не писать таких рефератов. Они не подходят для нашей высшей школы. Читал ваш реферат не я один, его слушал целый курс, и как к нему, а следовательно, к вам, отнесутся, мне трудно судить. Помимо всего я бы советовал вам идти на литературный факультет. Стилистически ваш реферат написан очень хорошо.

От того, как разнес мой доклад профессор, я была на седьмом небе от счастья. В течение последующих дней мне пришлось выслушать аналогичные мнения товарищей по курсу. Одна милая курсистка по секрету сообщила мне:

— Ваш доклад обсуждался на ячейке, нас призвали к бдительности, вас взяли на заметку.

Второй реферат не созвучный эпохе был прочитан студентом нашего курса на занятиях по экономической географии, третий — на занятиях по политэкономии.

Профессора морщились, но рефераты пропускали, и никто организационных выводов, казалось, не делал. Многие профессора наши не были строго выдержанными марксистами. Это, очевидно, и решило судьбу наших курсов.

Всего один учебный сезон просуществовали они. Перед началом весенних экзаменов нам было объ-

явлено о закрытии института. Так был расформирован не только наш институт. С высшей школой велась борьба упорная и систематическая. Школа должна была стать послушным рупором советской власти.

Судьбы студентов закрываемых учебных заведений решались совершенно неожиданно. Студенты распределялись по другим вузам соответственно количеству свободных мест. Одни направлялись на медицинский, другие на юридический, третьи на строительный. В шутку студенты говорили о том, что кого-то перевели на 2-й курс консерватории. Меня направили на 2-й курс промышленно-экономического института имени Бабушкина. Программы институтов не совпадали. Целый ряд предметов оказался у меня не проработанным, как, например, наука о финансах. За нее я и взялась в первую очередь. Два толстых тома профессора Озерова лежали передо мной. Без всякой охоты взялась я за них и, к удивлению своему, увлеклась. Но учиться в этом институте мне не хотелось. Он был сформирован из прежнего торгового училища. Он должен был подготовлять товароведов. Меня эта специальность не влекла, но выбора не было. Одновременно со мной с нашего курса было переведено еще несколько человек.

Большинство слушателей курса состояло из сельских жителей, и их влекла агрономия. Вместе мы роптали на решение наших судеб.

В институте руководящей была профессорско-студенческая партийная организация. Она являлась правой рукой дирекции, выдвинутой коммунистической партией. Всего месяц проучилась я в этом институте. Этот месяц, собственно, не был месяцем

занятий — шла полоса осенних зачетов. На дому, группой, готовились мы к ним.

Исключение

В один из дней, войдя в институт, я увидела группу студентов, толпившихся перед вновь вывешенным объявлением: на доске был вывешен список тех студентов, которым предлагалось зайти в канцелярию по вопросу о пребывании в институте. В списке значилась и моя фамилия. Некоторые из указанных в списке уже побывали в канцелярии. Одним из них было объявлено об исключении, другим предложено было представить в канцелярию института дополнительные документы: командировку в институт от какого-нибудь учреждения, партии, профсоюза, сельсовета, или же рекомендацию от трех членов коммунистической партии.

Заранее зная, что никаких документов я представить не смогу, направилась я в канцелярию с ясным сознанием обреченности на исключение. Но мне не предложили доставать дополнительные документы, мне сообщили об исключении меня из рядов слушателей. Я попыталась выяснить причины исключения, но никаких объяснений мне не дали. Из канцелярии меня направили к секретарю комсомольской организации.

Молодой парень с суровым лицом принял меня и просто напросто отказался разговаривать со мной. Не знаю, была ли я огорчена, возмущена я была очень и самым фактом исключения и тем, как реагировало студенчество на чистку в вузе. Не внесенные в список старались не задерживаться перед

объявлением, скорее проходили к аудитории. Занесенные в список принялись обивать пороги сильных мира сего. Товарищи, поджидавшие меня, услышав мой рассказ, с перепуганными лицами, пробормотавши нечленораздельно слова сочувствия, поспешили куда-то смыться.

Без сожаления захлопнула я за собой дверь вуза. Я понимала — с учебой покончено навсегда. Меня интересовало, чем же, в конце концов, мотивировано исключение. Какими материалами против меня располагал институт? Социальное происхождение? Известна им моя принадлежность к партии с.-р. в 1917 году? Проведали о моих настроениях сейчас?

Теперь предо мною стал вопрос о моем трудоустройстве. С работой в Москве было очень трудно. Мне удалось все же узнать, что при бирже труда созданы экспертные комиссии, выдающие свидетельства на право получения работы по специальности.

Библиотечная работа

Получить какую-либо конторскую работу не было никакой возможности, ее добивались тысячи людей, часто опытных, с большим стажем. Легче обстояло с работой библиотечной. Достав программы и ряд руководств, я стала готовиться к экзаменам. Экзамены сдавались при экспертных комиссиях биржи труда. Сдавалось библиотековедение и, конечно, политграмота. Последнее меня не смущало, так как все необходимые знания были приобретены при подготовке в вузе к зачетам, но над библиотековедением я прокорпела месяц.

Сдала экзамен, получила свидетельство, стала на учет в секции библиотечного дела. Тогда начались бесконечные хождения на биржу труда в ожидании направления на работу. В конце концов, я получила нечто напоминающее посылку на работу. С биржи труда меня направили в качестве практикантки в библиотеку им. Гоголя. Библиотека помещалась в Кудринском районе Москвы, совсем недалеко от зоосада, где мы жили.

В библиотеке заведующая — маленькая, сухонькая, хроменькая женщина — встретила меня неприветливо. Прежде всего она осведомилась, принадлежу ли я к партии, и, получив отрицательный ответ, вовсе нахмурилась, но до работы практиканткой допустила, не допустив, однако, до выдачи книг.

Мне было поручено составление библиотечных карточек. Работа была несложная, но неинтересная. Почерк у меня был неважный, и карточки, написанные мною, по красоте уступали карточкам, написанным другими сотрудниками.

Взаимоотношений ни с кем из работников библиотеки у меня не сложилось. Молча приходила я на работу, молча уходила, точно так же держали себя остальные сотрудники. Только коммунистки были как-то связаны между собой. У них проходили какие-то собрания, совещания, на которые другие работники не допускались.

Месяца через полтора, вынужденная срочной необходимостью, заведующая послала меня в помещение библиотеки. Большая комната в подвальном этаже сверху до низу, начиная с бесконечных полок и кончая полом, была завалена книгами. На

единственном огромном столе стройными пачками лежали новые, нуждающиеся в обработке книги. То были кипы современной политической литературы, выходившие тысячными тиражами. Их и поручила мне разобрать заведующая. Сама она приходила и уходила, наблюдая за моей работой. К тому времени я уже невзлюбила эту сухую, черствую женщину. Я возненавидела ее теперь.

Старательно пробиралась я между книг, валявшихся на полу. Она небрежно топала прямо по ним своими хромыми ногами.

Конечно, в ее отсутствие я ознакомилась с книжными богатствами, брошенными на пол. Здесь были массы изъятых книг. Нашла и папку с бумагами и списками книг, подлежащих изъятию из библиотек. Перечесть их всех мне не удалось, но груды изъятых книг говорили сами за себя. Часть их стояла по полкам: Достоевский, Толстой, Арцыбашев, Куприн, Бунин, Короленко... Это была беллетристика, что же говорить об истории? Она, по-моему, была изъята вся. Изъятыми оказались работы о декабристах, о народовольцах, конечно, весь Михайловский, весь отдел философии, социологии и политэкономии. Бедный Туган-Барановский, по которому я когда-то сдавала зачеты по политэкономии! На полу, по которому топала заведующая, лежали ценнейшие книги, реквизированные из частных библиотек, на них не было библиотечного штампа. Тут были книги старинные, в толстых кожаных переплетах, роскошные издания-альбомы с репродукциями лучших мастеров России, Западной Европы. Как хотелось мне подобрать их, вынести наверх, сделать доступными читателю.

В декабре 1923 или в январе 1924 года, вернувшись из библиотеки, я застала дома гостей. Веру Хрусталеву я знала давно, с мужем ее, Мощенко, я познакомилась только теперь. Вера в дореволюционные годы дружила с Дутей, она вместе со своим братом и его репетитором Алешей Ивановым бывала у нас в Сорочине. Тогда вся их компания левонастроенной молодежи была мне далека, я была еще совсем девочкой.

Узнав от Дути, что папа в Москве, Вера с мужем зашла к нему. С Дутей у Веры дружбы давно уже не было. Жизнь они принимали по-разному.

К этому времени и наши отношения с Дутей и ее мужем обострились настолько, что мы жили уже врозь, хотя и в одной квартире.

В связи ли с пьянкой, в связи ли с буржуазным окружением, которое, очевидно, составляли мы, или в связи с тем и другим вместе, Степана сняли с руководящей работы и вернули на производство в типографию. Сестру тоже исключили из партии.

Мы жили уже не на старой квартире при конторе. Наша комната и комната сестры были разделены большой проходной комнатой, которой никто не пользовался.

В этот день я застала папу, Диму, Веру и ее мужа за оживленной беседой. Говорилось обо всем, что волновало людей тех лет. По настроениям Вера и ее муж оказались нам очень близки. Не помню, как это случилось, но после ряда встреч Мощенко предложил нам с Димой познакомить, связать нас с группой студенческой молодежи, социалистически настроенной, и, если не прямо, то косвенно связан-

ной с партией эсеров, находящейся в глубоком подполье.

Мы радостно благодарили его, но просили предупредить посланца о том, что с Дутей и ее мужем и при них нельзя вести никаких разговоров. Моценко ответил, что он это знает, что он хотел даже предупредить нас, чтобы мы не говорили о нем с сестрой.

Неделю или две спустя к нам пришел юноша лет двадцати трех. Тонкий, стройный, с своеобразным, приметным, может быть, немного угрюмым лицом. Он представился нам как студент Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии. Мы сразу поняли, кто прислал Сергея Сидорова. Мы были ему рады. После довольно долгой беседы, в которой и папа принимал участие, Сергей предложил познакомить нас со своими товарищами. Он дал нам адрес, по которому мы должны были зайти в условленный день и час. Сергей нам всем очень понравился.

В назначенный день и час мы с Димой пошли на Поварскую. Мы легко нашли проходной двор и дом. Комната, в которую мы вошли, была маленькая, типично студенческая, а ее хозяин, Григорьевич, походил как две капли воды на вечного студента. Уже немолодой, лет тридцати, с длинной взлохмаченной шевелюрой, с длинными свисающими усами, высокий, сутуловатый, худой. На нем была поверх косоворотки наброшена студенческая поношенная тужурка.

Когда мы вошли, он сидел на своей койке позади стола. Стол был завален книгами и газетами. Кроме стола и кровати в комнате было три простых деревянных табурета. На широком подоконнике стоял

чайник, стакан на блюдце, какая-то кастрюлька и примус. Вид у комнаты был довольно-таки неопрятный, холостяцкий. Кроме хозяина в комнате находилось еще два студента.

Раз в неделю собирались мы в этой квартире. Здесь мы говорили на возвышенные темы, обсуждали студенческие дела. По настроениям мы все сочувствовали партии эсеров. Но то, что наша группа была связана с партией, по-моему, знали только мы с братом и Сергей. Наша группа была одним из звеньев цепочки, связывающей нелегальное студенческое движение.

По конспиративным соображениям каждое звено состояло из 5 человек. Каждый член звена должен был сорганизовать вокруг себя новую пятерку.

Мы с братом не знали ни подлинных имен, ни фамилий никого из товарищей, кроме Сергея. Не знали и они наших. Лица, о которых сообщалось, шли обычно под кличками. Все эти предосторожности соблюдались потому, что в студенческой среде шли аресты. В высшей школе шли беспрерывные чистки студентов, увольнения профессоров. Молодежь, еще хранившая традиции прежней школы, боролась за свободную, независимую от государства, самоуправляющуюся школу, за свободу собраний, сходок, за свободное избрание студенческих организаций.

Может быть, наивно было бороться за свободную школу в стране диктатуры, но молодежь ни с чем не хотела соглашаться и отстаивала свои права.

На наших собраниях зачитывались или получались для прочтения отдельные номера «Социалистического вестника» (нелегального органа с.-д.) и «Революционной России» (нелегального органа партии эсеров). Из них, кроме руководящих статей, мы

узнавали о событиях в стране, о новых арестах, из них мы узнали и о расстреле заключенных 19 декабря 1923 года на Соловках. Узнавали мы на наших собраниях об арестах среди студенчества Москвы и Ленинграда. Одной из наших задач было собирание средств для оказания помощи арестованным и сосланным студентам.[1] Материальную помощь мы обычно оказывали через существовавший тогда «Красный Крест Помощи Политзаключенным». Возглавляла его жена Горького, Екатерина Павловна Пешкова.

Лично знакома я с нею не была, но слышала о ней много восторженных отзывов. В последующие годы, вплоть до 1937 года, мне и моим товарищам она оказывала большую помощь.

Очевидно весной 1924 года правительство решило окончательно сломить сопротивление высшей школы, по крайней мере, аресты среди студенчества стали массовыми. В студенческом сопротивлении властям разброд царил потрясающий. Против линии партии, проводимой партией в высшей школе, выступали самые разнообразные группы студентов, от революционно до реакционно настроенных. Нашей задачей стало разъяснение в среде студенчества студенческих требований, выявление определенного направления, выкристаллизовывание соц. групп. Эпизодически социалистическим студенчеством выпускались листовки, освещавшие те или иные события, протекавшие в стране и школе теперь. Мы ставили перед собой задачу создания студенческой газеты, которая должна была освещать жизнь студенчества в различных учебных заведениях Москвы, сообщать о жизни студентов других универси-

тетских городов, обосновывать требования, выдвигаемые студентами.

Не помню, какое название хотели мы дать своей газете, но выходить она должна была под аншлагом эсеров «В борьбе обретешь ты право свое». Конечно, мы и не мечтали о печатном станке. Приобретение шапирографа, краски, восковки, пишущей машинки, даже просто бумаги в те годы было очень затруднено. Все эти товары распределялись по ордерам. Мы занялись собиранием средств и точно проверенного материала о жизни высшей школы. Передовую статью обещал достать Сергей у старших товарищей. Дома никто, кроме отца, не знал о наших встречах, о наших собраниях. Наша жизнь стала содержательней.



В феврале или марте Дутя предложила мне работу, очень увлекшую меня. При Госиздате организовывалось отделение по массовому издательству книг для сельских читателей. Возглавил это отделение известный профессор русской литературы С. Предполагалось сокращение ряда крупнейших литературных произведений. Дутя была знакома с профессором и от него узнала, что издательству требуются сотрудники для обработки и сокращения отобранных книг. Сестра предложила мне попробовать свои силы на этой работе. Я ухватилась за предложение обеими руками. Литературная работа всегда влекла меня. В Гизе, поговоривши со мной, профессор С. предложил мне взять для пробы роман Джека Лондона «Мартин Иден». В случае удачи роман будет принят к печати, а я зачислена в штат сотрудников.

Дни и ночи просиживала я за работой. Очень волновалась, чувствовала большую ответственность. Я любила Лондона, а «Мартина Идена» считала прекрасной книгой. Изо всех сил старалась я не исказить, не обеднить автора, сохранить его литературный стиль и в то же время уложиться в нужное количество листов. Работу я проделала. Прочитала отцу и получила его одобрение. Только мы с отцом недоумевали, почему была выбрана эта вещь, так не вязалась она с соответствующими установками большевиков, была, как говорится, «не созвучна с переживаемой нами эпохой».

Я понесла листы в Гиз. Я трепетала. Я была неуверена в себе: ведь это был мой первый литературный опыт.

Через неделю мне вернули рукопись. Редактор нашел ее неподходящей. Конечно, я была очень огорчена. Я заглянула в рукопись. Вся она была испещрена пометками, исправлениями. Чуть не бегом мчалась я домой. Хотелось ознакомиться с ошибками. Я забралась в самый уединенный уголок зоосада и погрузилась в чтение.

Домой, к папе, я влетела взбешенная. Я потрясала листами и задыхалась от волнения. Ни с одним исправлением я не была согласна. Мало того, я находила их неверными, неграмотными. Многие из них исправляли не меня, а Лондона. Я показывала свою рукопись всем, кто соглашался смотреть. Никто не понимал причины исправлений.

Тогда я отправилась в Гиз. Я добилась свидания с профессором. Чуть не со слезами на глазах доказывала я свою правоту, просила об объяснении допущенных ошибок. Он взял рукопись и начал листать. Мне кажется, ему стало жаль меня. Он сказал, что

сам посмотрит мою рукопись и тогда скажет мне свое мнение. За ответом он просил зайти недельки через две, так как очень занят. Окончательный отзыв профессора окрылил меня. Казалось, чему было радоваться? Профессор сказал, что вещь не пойдет по независящим от него обстоятельствам, но что он не согласен с исправлениями, что он считает мою работу удачной. Литературная сторона сокращений его вполне удовлетворяла. Не моя вина, а вина Гиза, сама вещь была выбрана неудачно. Она не подходит по тематике для изб-читален. Профессор сказал, что намерен принять меня в число сотрудников и просил зайти к нему в концу месяца, так как сейчас они загружены другой, срочной работой. Я обещала зайти. Я страшно хотела зайти, примкнуть к литературной работе, но сомнения мучили меня. «Мартин Иден» оказался неподходящим для редакции, окажутся ли подходящими по содержанию для меня те книги, которые предложат мне для сокращения? Смогу ли я взять социальный заказ? Соблазн литературной работы был велик. Устою ли я перед соблазном?

Жизнь не поставила меня перед решением сложных вопросов вхождения в советскую литературу, компромиссов с совестью. Жизнь решила этот вопрос помимо меня. В Госиздат я больше не пошла.



Сергей Сидоров предупредил меня и Диму:

— Идя к Григорьевичу, поколесите по Москве и смотрите внимательнее, не следит ли кто-нибудь за вами. Нам кажется, что за квартирой установлено наблюдение. Если заметите что-нибудь подозри-

тельное, не приходите вовсе. Если за вами слежки не будет и на окне будет стоять свеча, заходите. Собираемся там в последний раз.

Слежки за собой мы не заметили. Свеча на подоконнике горела. Мы вошли в дом. Товарищи были в сборе. Григорьевич рассказал, что у дома все время торчит какая-то подозрительная личность, похоже, шпик. Дворничиха тоже рассказала ему, что у нее наводили справки, бывают ли у студента товарищи и часто ли они собираются. Может быть, у страха глаза велики, во всяком случае, в целях предосторожности собираться у Григорьевича больше не стоит. Собственно, мы планировали перерыв во встречах, но не сейчас, а после выпуска первого номера нашей газеты. Для выпуска первого номера у нас было все уже подготовлено. Шапирограф, чернила, бумага — все запасено. Найден был человек, который должен был на пишущей машинке напечатать восковку, подобраны люди для распространения газет. Нам необходимо было собраться еще раз для обсуждения газетного материала в целом и установления явок для получения напечатанных листовок. Печатать, то есть делать оттиски, было решено у нас дома. Ночами думали мы с Димой вести эту работу. Комната была изолированной, нас двое, помощников нам не надо, а явка за листами в зоологический сад тоже могла протекать незаметно. Мало ли людей идут смотреть зверей. Конечно, проводить собрание там, где предполагалось печатание, не следовало, но другого выхода не было. И порешили собраться у нас. Осторожно, по одиночке, разошлись мы по домам, с тем, что завтра собираемся у нас в последний раз.

Дома мы обо всем рассказали отцу. Бедный папа!

Он боялся за нас. Хмурил брови, проклинал свою инвалидность, но ни одного слова возражения мы от него не слышали. Папа полностью разделял наше возмущение тем, что творилось вокруг. Понимал наше желание принять посильное участие в борьбе студенчества за свободную школу в «свободной стране». Так формулировались нами требования в передовой статье нашей газеты.

Вечер следующего дня начался очень удачно. Сестра и ее муж ушли куда-то и, когда пришли товарищи, никого, кроме нас с отцом, дома не было. Папа лежал на своей кровати, занавески на окнах были спущены, каждый из приходивших сообщал, что за ним наблюдения не было, что хвоста за собою он не привел.

Усевшись за столом, мы в последний раз пересмотрели материал, сведенный уже в один лист и расположенный в должном порядке. Я не помню уже всего собранного нами материала. Помню, что была там моя заметка об изъятии книг из библиотек, информация о последних арестах среди студентов, произведенных в Москве, с перечнем фамилий, заметка об увольнении ряда профессоров из университетов, предлагающая студентам бойкотировать профессоров, назначенных на место исключенных. Был в газете раздел «За что бороться?» Там выдвигалось требование независимости высшей школы от государства, экстерриториальности ее помещений, свободы слова, собраний, сходок для профессоров и студентов, возвращения в университетские книгохранилища и библиотеки изъятых книг, возвращения из ссылок всех арестованных за студенческие выступления студентов, прекращения

чисток в высшей школе по социальному положению и по политическому убеждению.

Прочитав материал, условившись о количестве оттисков, и о том, где, кто и когда будет получать напечатанные листы для их распространения, товарищи ушли. Последним вышел Сергей. Он сказал на прощанье:

— В случае, если меня арестуют, связь с партией будете держать вы. Кроме вас и меня никто не имеет нити.

Я молча кивнула головой, а Дима сказал:

— Будем верить, Сергей, что ты еще продержишься.

В комнате было сизо от табачного дыма, и как только Сергей вышел, я быстро подошла к окну и толкнула плотно закрытые оконные створки. Занавески всплеснули, взвились за окно. Я до половины высунулась вдохнуть свежей прохлады весеннего вечера.

Что это? Или мне только показалось, что кто-то шарахнулся во тьму, в кусты, растущие вокруг нашего домика? Я вглядывалась пристально, прислушивалась... Нет никого, тишина. «Причудилось», — решила я и ничего не сказала ни отцу, ни брату. Поспешно убрали мы все в нашей комнате, уничтожили все черновые заметки. Оставался один уже перепечатанный на машинке экземпляр газеты. Мы с Димой хотели заложить его в одну из книг, но папа решительно потребовал, чтобы этот лист был заложен в матрац, на котором он лежал. Мы не противоречили. Только успели мы это сделать, как в дверь постучали.

— Здесь живут Олицкие? — раздался мужской голос. Одновременно дверь отворилась. На пороге нашей комнаты стоял человек в форме чекиста. За ним следовали еще двое. Четвертый был в штатском.

Я взглянула на отца. Папа был очень бледен.

— Мне поручено произвести обыск в вашей квартире, — сказал чекист.

— Предъявите, пожалуйста, ордер, — ответила я.

Достав из портфеля очень толстую пачку ордеров, он полистал ее, вынул одну бумагу и положил на стол. Я, наклонившись, прочитала ее и подала брату. Ордер был на обыск и арест Екатерины и Дмитрия Олицких.

— Пожалуйста, — сказала я и отошла в сторону. Брат тоже отошел в сторону и сел на кровать к отцу.

Во время обыска никто из нас не проронил ни слова. Чекисты рылись всюду. Они перетряхивали, перелистывали книги, простукивали пол и стены.

— А кто это сейчас вышел от вас? — спросил главный.

— От нас? — удивились мы. — Никто от нас не выходил.

— Напрасно отрицаете, мы знаем, что у вас были люди.

Я все время думала про шорох под окном. «Донос, явно донос, и они ищут газету». Но я врала, что у нас никого не было, может, из квартиры кто и выходил. Я знала, что муж сестры недавно возвратился и снова ушел.

Обыск был закончен. У нас ничего не нашли. Че-

кисты составили протокол, его подписали мы и понятой.

— Можете идти, — сказал ему чекист. Понятой как-то сгорбившись, попятился к двери, вышел и закрыл за собою дверь. Следом она снова открылась, на пороге стояла Дутя, она только что вернулась домой. Из-за ее спины виднелось насмерть перепуганное лицо Пети.

— Это к вам? — спросил чекист и направился к двери.

— Это сестра, — ответила я.

— А-а-а... — протянул он, — простите, здесь производится обыск, посторонним вход воспрещен. Сестра молча отступила и закрыла за собой дверь.

— Оденьтесь и идите со мной. Вещей с собой брать не надо.

Я одела жакет и шляпу, брат надел тужурку. Мы подошли проститься с отцом. Мы крепко поцеловались. Слабые руки отца дрожали.

У подъезда стояли две легковые машины. В одну из них сели мы с братом и один из чекистов.

— Вези на Лубянку, — сказал старший и направился ко второй машине.

«За следующими», — мелькнуло у меня в голове. Я вспомнила толстую пачку ордеров, из которой он выбрал наш.

Мы с братом сидели рядом на открытой машине и крепко держались за руки. Мы молчали, ведь рядом сидел спутник, но я знала, что оба мы думаем об отце. Когда мы выходили из своей комнаты, в проходной комнате стояла Дутя. С нахмуренным, сердитым лицом смотрела она в сторону, но все же бросила нам:

— За отца можете не беспокоиться.

Мало успокоила меня эта фраза, я знала, каково сейчас отцу.

На Лубянке-2

У Лубянки-2 машина заехала во двор и остановилась против большой двери. По узкой лестнице предложили нам подняться наверх. На площадке третьего этажа брату велели войти в дверь направо. Под окрик сопровождающих мы все же пожали друг другу руку. Я поднималась выше.

На четвертом этаже дверь открылась и передо мной. Из коридора я попала в маленькую, совершенно пустую комнату. Первым поразило меня то, что все двери открывались и закрывались как бы сами. Беззвучно по устланным дорожками коридорам двигались надзиратели, без слов понимавшие друг друга. Изредка они стучали ключами по пряжке пояса.

Через минуту после меня и конвоира в комнату вошла пожилая женщина.

— Обработайте, — сказал ей конвоир и вышел.

Женщина подошла ко мне и сказала:

— Разденьтесь. Обыскать мне вас нужно.

Я сняла платье. Обыскала меня эта женщина очень поверхностно, без придирчивых гнусных приемов, что поняла я, впрочем, потом, когда прошла через целую вереницу обысков разных лет.

При обыске у меня ничего взято не было. Я снова одела платье. Молча стояли мы друг перед другом. Потом дверь отворилась и появился надзиратель. Молча рукой указал он мне на дверь. Теперь мы долго шли коридором. Он был разделен перегородками на части. У каждой перегородки с обеих сто-

рон двери нас встречал и провожал постовой. По обеим сторонам шли двери камер. Над каждой дверью стоял номер. В каждой двери был прорезан круглый глазок. Наконец, мы дошли до камеры, дверь в которую была открыта. Сопровождавший рукой указал на нее. Я переступила через порог, и дверь за мной закрылась. В замке щелкнул ключ.

Первое, о чем я подумала, очутившись в камере, что щелканье замка, так жутко описываемое в рассказах о тюремной жизни, не произвело на меня тяжелого впечатления. Напротив, первым чувством было чувство облегчения — наконец-то я одна. Одна, и в тюремной камере. В тюремной камере, через которую прошло столько лучших людей России. Я даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму. Ведь я ничего-ничегошеньки не успела сделать. С интересом стала я осматриваться вокруг. До удивительности все было знакомо по воспоминаниям отца. Окно за решеткой, койка, правда, не привинченная к стене, столик, в углу у двери — параша. Стены до половины, пол и все предметы выкрашены коричневой краской. В двери прорезан волчок — круглое застекленное отверстие, со стороны коридора оно задернуто пластинкой...

Сперва мне показалось, что окно упирается в стену противоположного здания, но нет, на расстоянии четверти от окна подвешен к нему железный, тоже коричневой краской окрашенный щит. Это усовершенствование — о таких щитах я не слышала. Под окном — батарея центрального отопления, вдоль стены трубы идут в другие камеры... и мелькает мысль: «А по ним можно перестукиваться». Над волчком двери большая картонка с правилами внутреннего распорядка: Заключенные обязаны... За-

ключенным запрещается... Заключенным разрешается...

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОБЯЗАНЫ: а) поддерживать чистоту в камере; б) исполнять все законные требования администрации; в) вставать при обходе камер начальником тюрьмы; г) ежедневно выносить и вымывать парашу.

ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: а) нарушать тишину в камере; б) подходить к окну и класть что-либо на решетку и подоконник; в) входить в общение с соседними камерами, стучаться в стены и трубы водопровода; г) громко разговаривать, петь и кричать в окна; д) делать надписи на стенах камер.

ЗАКЛЮЧЕННЫМ РАЗРЕШАЕТСЯ: а) ежедневная 16-минутная прогулка; б) хранить в камере зубной порошок, зубную щетку и мыло; в) хранить в камере разрешенные продукты питания; г) получать с разрешения следователя передачи раз в декаду; е) с разрешения следователя раз в месяц свидание с родными.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО: а) подавать жалобы и заявления через начальника тюрьмы раз в декаду во время обхода начальником камер; б) в случае надобности вызывать дежурного по корпусу или врача.

Я внимательно изучала правила, меня очень интересовал внутренний распорядок советских тюрем. И тут я услышала, уловила в окружающей меня тишине легкий размеренный стук в стену. Доносился он откуда-то сверху. Четкие удары. Раз, два, три — пауза. Опять раз, два, потом раз-два-три-четыре и раз-два-три. По рассказам отца я знала о перестукиваниях заключенных и о тюремной аз-

буке. «Папа! что-то он делает сейчас? Не спит? Думает о нас? Как он будет жить без нас?»

Я ни в чем не раскаиваюсь. Я знала и раньше, что так, в конце концов, случится. Я ничего не могла изменить. Но теперь, когда это случилось, мне было невыразимо больно за отца. Бросив свои исследования и наблюдения, я подошла к койке и легла, не раздеваясь. Ведь я пробовала жить всячески. Но мне, очевидно, нет места там, на воле. Нет места в институте, нет места на работе. Как жить? Мириться со всем, что окружает? Молчать о безобразиях, молчать или прикидываться сочувствующей? Восторгаться всем тем, что возмущает? Подделываться и подмазываться... Вот тогда можно жить. И хорошо жить!

Мысли мои прервал шорох у дверей. Это щелкнул волчок. В круглое стеклышко, вделанное в дверь, смотрел человеческий глаз. Встретившись с моим взглядом, он исчез. Стеклышко закрылось. Через минуту или две волчок снова щелкнул. И вслед загремел ключ в замке. Дверь открылась.

— Получите одеяло, простынь, наволочку, полотенце.

Я взяла поданные вещи и постелила постель. Раздеваться мне не хотелось. Я прилегла одетая. Через небольшой промежуток времени надзиратель приоткрыл дверь.

— Раздевайтесь и ложитесь спать.

Я никак не реагировала на его голос. Больше меня никто не тревожил, я могла думать, думать, сколько хочу. Кругом меня тихо стучали стены.

«Надо вспомнить тюремную азбуку», — подумала я, но ничего не вспомнила. Очевидно, я задремала. Разбудил меня звук отпираемого замка и стук от-

крываемой двери. Порог переступила молоденькая девушка с узелком в руке. Она решительным шагом вошла в камеру, положила свой узелок на стол и села на свободную койку. Я тоже села на своей койке.

— Здравствуйте, — сказала я, — вас только что арестовали?

— Да, — ответила она. — А вы давно сидите?

— Меня тоже сегодня арестовали и привезли сюда.

— Тогда давайте знакомиться. Я Вера Рыбакова, студентка исторического факультета. А вы — тоже студентка?

— Нет. Пожалуй, что нет. Меня вычистили из промышленно-экономического института еще осенью. Но взяли по студенческому делу.

Вера чуть приподняла брови.

— А меня без всякого дела. Ужас, сколько студентов сегодня арестовали. Перед 1 мая, конечно.

Так начался разговор с Верой. Мы сказали друг другу, что мы беспартийные, что мы взяты случайно. Но не больше, как через час, мы знали друг о друге многое. Я поняла, что Вера причастна к с.-д. студенческим организациям; она поняла, что я сочувствую эсеровскому движению. Мы даже успели поспорить на одну из социологических тем. Но это не помешало тому, что между нами сразу установилась близость. Усевшись рядом на тюремную койку, мы сообщали друг другу про последние аресты товарищей, которые были взяты раньше нас. О тех, кто пошел на Соловки, в Суздальский политизолятор. Обе мы ставили перед собой вопрос, в чем причина нашего провала, нашего ареста? Донос?.. Чей? Кто выдал?

Не раз во время нашей беседы к двери нашей камеры подходил надзиратель. Не раз щелкал волчок. Мы не обращали на это внимания. Ни я, ни Вера не считали нужным скрывать установившуюся между нами близость. Мир теперь делился для нас на две группы. Мы — арестанты, они — тюремщики. Наконец, Вера встала с койки и, как я немного раньше, стала осматривать камеру. Мы заходили по камере, задвигали Вериной койкой, стоявшей у противоположной стены. Вероятно, это услышали наши соседи. В стену камеры над Вериной койкой послышался легкий, осторожный выбивающий дробь стук. Вера быстро подошла к стене и косточкой согнутого пальца застучала в ответ. Тогда в стену послышались четкие ритмические удары. Вера взглянула на меня вопросительно.

Я морщила брови. Папа рассказывал. Азбука разбивается на ряд строк. Первый удар — строка, второй — буква. Сколько строк, сколько букв в строке? Соседняя стена стучала, а мы ничего не могли понять.

— Кажется 5 строк по шесть букв, — фантазировала я.

Но как запомнить, где стоит какая буква? Ни карандаша, ни бумаги у нас с Верой не было. Были папиросы и спички. Развернули окурок, обугленной спичкой мы стали выцарапывать азбуку, разбивая ее по строкам. Пока мы возились с азбукой, стена вызывающе постукивала. Изредка Вера подходила к ней и давала частую дробь. Или гладила стену.

— Сейчас. Ну вот сейчас, — говорила она.

Мы не сомневались, что за стеной друзья. Наконец наша шпаргалка была готова. Теперь мы с Верой, путаясь и заглядывая в нее, застучали:

— Кто вы?

Соседи, выслушав дробь, умолкли, а потом забарабанили снова. Мы пробовали по шпаргалке понять их стук, но ничего не выходило. Тогда мы стали выстукивать им просто первую строку азбуки.

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6.

2/1, 2/2, 2/3, 2/4...

Ура!!! Соседи нас поняли. Они замазали стенку и четко выстукали ответ. Азбука делилась на 6 строк. В каждой строке было 5 букв. В этот вечер мы больше не стучали. Мы, каждая, изготовили себе по шпаргалке и, лежа в кровати, стали учить азбуку, пока не заснули.

Второй день заключения начался новыми переживаниями. Подъем, оправка, первая тюремная еда. Вера оказалась запасливей меня. В ее узелке была добавка к первому тюремному кипятку и хлебу — и масло, и колбаса. Мы еще не выучили азбуку, как застучали соседи. Они стучали быстро, мы не могли их понять. Нашего сбивчивого стука не понимали они. Тогда мы с Верой решили поискать другой путь связи. Мы принялись исследовать стену. Под окном нашей камеры был расположен калорифер центрального отопления. Трубы от него уходили в соседние камеры. Исследуя стены, мы установили, что возле трубы, уходящей в соседнюю камеру, есть щель. Приложив к ней ухо, я ясно различила разговор соседей. Два мужских голоса. Очевидно, если говорить прямо в трубу, будет слышно. Но как сообщить им, как привлечь их внимание к трубе? Прежде всего мы попробовали пустить в дыру дым от папиросы. Это не помогло. Тогда мы вернулись снова к азбуке. Мы выучились стучать слово «ды-

ра», мы раздельными ударами вели их к щели у трубы.

И наконец, ура, они нас поняли!

По трубе мы услышали:

— Здравствуйте, товарищи, кто вы?

Так началось наше знакомство. Мы были счастливы.

Постепенно мы узнали, что наши соседи — левый эсер Вершинин и с.-д. Петровский. Между нами наладились дружеские отношения. Мы стали болтать через дыру и научились перестукиваться через стену.

Вдохновленные успехом камеры направо, овладев несколько техникой перестукивания, мы решили завязать отношения с камерой налево.

Мы не были опытными тюремными сидельцами, мы даже не сумели прислушаться к тому, сидит ли кто в этой камере, отворяется ли ее дверь на оправку, приносят ли в нее обед и ужин. Мы просто забарабанили в стену. Сперва тихо, потом, не получая ответа, все громче. Наконец, когда мы уже бессовестно гремели в стенку, нам послышался ответный стук.

— Кто вы? — застучали мы и напряженно стали слушать ответ.

Так как мы обе еще не бегло читали азбуку, то при приеме одна из нас, а то и обе, произносили принимаемую букву вслух. Так приняли мы букву за буквой «Д», «У», «Р», «Ы».

Сообразив значение принятого слова, мы просто шарахнулись от стенки, возмущенно и сконфуженно глядя друг на друга. В коридоре громко хохотал надзор.

Мы с Верой жили дружно. Не тосковали, с надеж-

дой и радостно смотрели в ожидавшее нас будущее. Мы ни в чем не раскаивались, да и не в чем было раскаиваться. Мы даже мечтали иногда, что попадем в тюрьму. Она мечтала о Суздальском политизоляторе, где были заключены ее знакомые с.-д. Мне хотелось на Соловки, я знала, что там много эсеров. Мы обе чувствовали, что нам необходима встреча со старшими товарищами. Нам нужно было разъяснение целого ряда неясных вопросов. Ничего этого нам воля дать не могла. Там все было задавлено, задушено большевистскими сентенциями, угрозами.

Я очень тосковала и горевала об отце. Волновалась за брата. Диме ведь едва исполнилось 18 лет. Как выдержит он тюремные испытания, следствия, допросы.

Свое поведение на следствии я продумала и решила твердо. Никаких показаний я давать не буду. Я знала партийную установку — если партийная принадлежность органами установлена, не отказываться от партии.

Допрос

На первом же допросе я поняла, что кто-то выдал нашу группу. Из высказываний следователя, державшегося со мной достаточно корректно, я пришла к заключению, что С. Сидоров не арестован. По-видимому, ему удалось скрыться. Григорьевич был арестован. Следователь говорил, что он сознался во всем и выпущен на волю.

Очень тяжело узнать о своем товарище, что он, говоря арестантским языком, «ссучился». Я тяжело переживала измену Григорьевича.

На допросах следователь говорил:

— Вы своим молчанием усугубляете вину. Придется вам, наверное, проехаться на Соловки. Вот ваш брат во всем признался, и мы его выпустим.

Я была уверена, что он врет про Диму, значит, врет и про Григорьевича. Следователь показал мне много фотокарточек. Были среди них незнакомые мне лица. Показал он мне чью-то малограмотную юдофобскую листовку, будто взятую у какого-то Киселева. От нее я категорически отмежевалась.

Через 8 лет, только через 8 лет(!) я узнала, что предал нашу группу С. Сидоров. Возможно, что следователь сознательно набрасывал тень на Григорьевича. Но об этом позже.

5. ССЫЛКА НА СОЛОВКИ

Через месяц, проведенный во внутренней тюрьме, мне объявили, что по постановлению ОСО я заключаюсь под стражу на 3 года и отправляюсь на Соловецкие острова. Одновременно следователь сообщил, что брат получает высылку из Москвы — минус 32 пункта. Это означало, что ни в одном губернском городе он жить не может. Мне было сказано, что в ближайшие дни я получу свидание с родными, что через следователя могу сообщить, какие вещи хотела бы получить от них на дорогу.

Взволнованная, но не испуганная, вернулась я в камеру. Уж если ехать куда-нибудь, то лучше всего на Соловки! В камере я рассказала Вере о приговоре. Она крепко пожала мою руку. Потом она сказала:

— Сегодня соседняя камера нас вызывала.

— Которая? — спросила я.

— Стена «ДУР», — ответила Вера.

— Вы ответили?

Вера отрицательно покачала головой.

— Сначала я постучу соседям о приговоре, — сказала я.

Усевшись на Вериной койке лицом к волчку, чтобы видеть, не пойдет ли надзор, левой рукой, заложенной за спину, я тихонько застучала, вызывая Вершинина. Мы с Верой поделили наших соседей. Мы кое-что уже знали о них. Даже подсмотрели в щель волчка, как они выглядят. Петровский, старый

с.-д., подпольщик царских лет, давал нам массу практических советов: побольше ходить по камере, ежедневно делать гимнастику, заниматься языками. Вершинин — молодой украинский эсер — был поэт и мечтатель. Он выстукивал в стенку всякую лирику и даже свои стихи. Едва я застучала, как соседняя камера, очевидно, услышав наш стук, застучала в свою стену. Ее стук сбивал меня, мешал слушать соседей.

— Вера, замажьте стену, — попросила я.

До самого вечера мы, возбужденные моим приговором, не подходили к стене «Дур». Когда мы уже улеглись спать, Вера сказала:

— Все же следует проверить вашу стену. Кого-то туда привели. Я слышала, когда вы были у следователя, как там открывалась дверь. Ужин, по-моему, туда тоже приносили.

Высунув руку из-под одеяла, я осторожно постучала. На мой вызов сейчас же раздалась ответная дробь.

— Кто вы? — простучала я.

Ответ был до того неожиданным, что вызвал во мне сомнения.

— Эсерка с Соловков Сима Юдичева.

Сегодня я узнала о том, что еду на Соловки, и сегодня же за стенкой появляется эсерка с Соловков...

— Подозрительно, — шепнула я Вере, но все же продолжала разговор. Свой-то приговор я могла без риска сообщить каждому.

Сима простучала нам, что ее родители без ее ведома хлопотали о ней и ее вызвали с Соловков. Следователь предложил ей отречься от партии, дать покаянное письмо. Она, конечно, отказалась и следую-

щим этапом едет обратно на Соловки. Сима выстукала, что болеет, что родители прислали ей в передаче уйму вкусных вещей, но она их есть не может и завтра оставит сверточек нам в уборной. Мы с Симой решили, что, очевидно, поедем на Соловки вместе.

Свидание с родными

Я получила свидание с братом и сестрой. В кабинете следователя застала их обоих. Они сидели на маленьком диванчике у стены. У другой стены, напротив, был поставлен стул для меня. Следователь, сидевший за письменным столом у окна, сказал:

— Свидание — 15 минут.

О чем можно говорить при следователе? А как много нужно сказать! Выручила нас с братом Аня. Она говорила без умолку о том, как проводила лето, как растет ее дочка Лидочка, что уложила в мой чемодан. Мы с братом были благодарны ей. Под ее болтовню мы коротенькими полунамеками обменивались о главном. Конечно, брата следователь уверял, что я даю исчерпывающие показания. Дима прикинулся беспечным мальчишкой, охотно рассказавшим бы все, что знал, но не знает-то он ничего. Кто предал? Кто уцелел? — спрашивали мы друг друга. Нам даже удалось под Анину оживленную болтовню условиться, что в последней передаче с воли Дима передаст мне записочку, что будет она заделана в хвостик колбасы. Быстро пролетели 15 минут.

— Свидание окончено, — произнес следователь.

В ту же минуту была я в объятиях брата, и на ухо он мне шептал:

«Катя, я завидую тебе, но я решил остаться с отцом и потому так держался. Я никого не выдал. Ты веришь мне?» Я крепко сжала его руку. Улыбаясь, смотрели мы на следователя. Он бесновался, кричал, но было уже поздно. Я жала руку сестре, она поспешно договаривала:

— Сшила тебе на дорогу платье Клава, а тетя Аня и Пьерик положили духи. Какая ты дурочка, но все равно все тебя жалеют.

Следователь нетерпеливо открыл дверь. Я была благодарна ему за это.

— Целуйте папу, крепко целуйте папу, — твердила я. Я чувствовала, что слезы подступают к глазам, а плакать... нет, плакать в кабинете следователя я никак не хотела. Быстро повернувшись, я вышла за дверь. Там ждал меня надзиратель. Идя по коридорам и лестницам ОГПУ, я понимала, что ухожу с каждым шагом от всей своей прежней жизни, от папы, от друзей, от воли.

На этап

В камере меня ждало пиршество, — печенье, конфеты, и даже маленький тортик.

— Откуда — глаза у меня округлились.

— Целое событие, — говорила Вера, — только вы ушли, стучит Сима: «Проситесь в уборную, там под раковиной ниточка, заделана хлебом, тяните за нее». Выпросилась я у надзирателя, говорю, живот болит, он пустил. Нагибаюсь над раковиной умывальника искать ниточку, а весь пакет лежит на полу. Очевидно, вывалился. Затолкала я его за пазуху, перекинула полотенце через плечо, стучусь надзи-

рателю выпускать, а сама трушу. Но обошлось. Давайте кушать. Так вкусно, я вас еще дождалась.

Прощальный пир во внутренней тюрьме. За обе щеки уплетали мы с Верой сласти. Симе мы простучали *«спасибо»*. Она ответила: «Было свидание с родными, этап, наверное, завтра».

На другое утро, сразу после оправки, открылась дверь нашей камеры.

— Олицкая, к следователю!

— Зачем еще? — удивилась я. Накинув жакет, я вышла. Далеко идти мне не пришлось. Всего две или три двери миновали мы, и меня завели в камеру. В ней за столиком сидели врачи в белых халатах.

— На что жалуетесь?

— Я не записывалась к врачу, — сказала я, — здесь какая-то ошибка, я ни на что не жалуюсь.

— Разденьтесь, я выслушаю вас, — сказал врач. Пожав плечами, я сняла жакет и блузку. Буквально на одну секунду приложил врач трубку к моей груди.

— Здорова, можете одеваться.

«Что за комедия?» — подумала я, и тут же мелькнула мысль. «Медосмотр перед этапом».

В камере я даже не успела рассказать про медосмотр, как снова открылась дверь.

— Олицкая, к следователю!

Теперь мне пришлось идти долго коридором, лестницей вниз. Это не была дорога к следователю, которую я хорошо запомнила.

Наконец, я очутилась в большой и совершенно пустой комнате. Приведший меня надзиратель указал рукой в угол:

— Получите ваш чемодан.

Я повела глазами за его рукой. В углу комнаты

стоял большой папин чемодан. На нем мелом большими буквами написано: ЧЕМОДАН ОЛИЦКОЙ.

Я поняла, меня вызвали на этап.

— Мне еще надо вернуться в камеру, у меня там вещи остались.

— Принесли, — буркнул надзиратель.

Вера, милая Вера, нам даже не дали проститься.

Маленькая, худенькая женщина уже суетилась около меня.

— Разденьтесь. Да нет, совсем разденьтесь, до сорочки, и чулки снимите.

Чужие противные руки скользили по моему телу вниз к ступеням ног.

— Рот откройте. Распустите волосы. Можете одеваться.

Прощупывая каждую штуку белья по всем швам, подавала женщина мне их одну за другой.

Какая грязная, какая отвратительная профессия... Что ищут они в складках человеческого тела?

Едва я оделась, как в комнату вошел надзиратель и бросил на мой чемодан узелок с вещами, оставленными в камере. Оглянулся на женщину.

— Все, — сказала она.

Тогда он подхватил мой чемодан.

— Берите узелок, пойдемте.

И снова шли мы по коридорам, снова спускались по лестницам...

Товарищи

Мы вошли теперь в огромную светлую комнату. Посередине ее стоял длинный стол. Рядом с ним надзиратель поставил мой чемодан, на стол я положила узелок.

Почему-то теперь, когда я понимала, что меня

готовят к этапу, меня больше всего смущала моя шляпа, черная, газовая, как носили в то время, с большими полями. Куда ее деть? Не могу же я и в тюремный этап идти в такой шляпе! Вслед за мной в помещение, где составлялся этап, привели девушку, которая сперва показалась мне школьницей. На ней было темнокоричневое, почти форменное платье, которое едва прикрывало колени. На ногах ее были коричневые чулки и мягкие без каблуков туфли. Русые, растрепавшиеся слегка волосы спускались на плечи и были перевязаны большим черным бантом.

Она не была красива, но высокий матовый лоб и огромные серые глаза создавали впечатление исключительной чистоты и прелести. Лицо ее было очень, очень бледно. Я сразу догадалась — Сима.

— Катя... — чуть вопросительно сказала она — вот мы и вместе. Как я рада, что вы едете, что я не одна среди уголовных.

Мы крепко пожали друг другу руки.

— А как вы ехали сюда?

— Ну, сюда я ехала спецконвоем. Я все расскажу вам и про Соловки.

Дверь снова отворилась, в нее впустили целую группу заключенных, 4-х мужчин и одну женщину.

— Симочка! — воскликнула женщина и заключила Симу в объятия. Мужчины тоже окружили Симу, жали ей руки.

А дверь открылась опять. Одного за другим приводили мужчин. Один из них сразу присоединился к группе возле Симы. Другие два остановились возле меня. Мы познакомились. Один оказался с.-д.-ком, второй, к моему ужасу, тем самым студентом Киселевым, чью листовку показывал мне следова-

тель. Как-то невольно заговорила я о ней. Сбивчиво начал объяснять Киселев, что это вовсе не была листовка, что это он для себя набросал свои мысли, вернувшись домой со студенческого собрания.

«Хрен редьки не слаще, — думала я, — хорошенькие юдофобские мысли про себя». К счастью, Сима обернулась ко мне.

— Это тоже наш товарищ и тоже едет на Соловки. Знакомьтесь.

— Это все наши товарищи, Катя.

Александра Ипполитовна Шестневская, отделившись от группы мужчин, подошла ко мне.

— Вы первый раз арестованы и вот так идете в этап?

Я покраснела до ушей. На мне был черный шерстяной костюм, в котором меня арестовали, белая маркизетовая блузка с короткими рукавами и проклятая газовая шляпа с широкими полями.

— Ну, ничего, мы что-нибудь придумаем. В этап шерстяной костюм просто жалко. А в шляпе будет неудобно. Нужна косынка, а то волосы от грязи совсем пропадут.

Я указала рукой на мой чемодан. — Может быть там, в моих вещах...

— Ну и отлично. Что-нибудь подберем!

Шестневская была лет на 7 старше нас с Симой. Светлая блондинка с карими глазами и правильными чертами лица, она была явно очень возбуждена. Она без конца говорила. Сима мне нравилась больше. Но она была с другими, а Александра Ипполитовна занялась мною.

— Наша группа, пять человек эсеров, едет из Вятской ссылки. В ссылке была большая колония ссыльных, с работой было трудно, и мы решили

организовать кассу взаимопомощи ссыльных. Высокий пожилой мужчина — Студенецкий, а молодой красивый паренек — Никола Замятин. Вот тот маленький, полный — Иван Юлианович Примак. Это чудесный, замечательный человек! Рядом с ним Волк-Штоцкий. Этот совсем больной, у него туберкулез, как он будет жить на Соловках, не знаю. Есть у вас знакомые на Соловках?

— Нет, я там никого не знаю.

— Там, конечно, замечательные люди! Но в Вятке состав был сильнее. Один Рихтер... изумительный человек! Жаль, что вы не попали в Вятку. Хотя, может быть, и всю ссылку разбросают.

Взволнованность и возбуждение слышались в ее словах, в их торопливости.

Между Симой и группой мужчин шла речь о Стружинском. Я слышала уже о нем и его двух товарищах, фамилии которых я не помню. Они прибегли к самосожжению. Забаррикадировав дверь камеры и облив матрасы керосином, подожгли их. Они лежали в Вятской больнице. Товарищи говорили, что есть надежда спасения их жизни.

Товарищи оживленно разговаривали, когда раздался окрик надзора:

— Женщины, с вещами выходи!

Мы вздрогнули. Нам не хотелось отделяться от мужчин.

— Почему это? Как же это? — сказала Александра Ипполитовна, — ведь все мы идем на Соловки общим этапом. Сюда тоже шли все вместе. Я не пойду.

Студенецкий, он был старшим по группе, предложил надзирателю вызвать старшего по корпусу.

— Наши женщины всегда идут этапом вместе с

нами. Едем мы в один и тот же лагерь. Почему вы вдруг отделяете женщин?

— Следуете вместе, значит будете вместе. Сейчас подчиняйтесь команде. Женщины без вещей выходи! Мужчины, берите вещи женщин и свои, стройтесь!

Сима и я угрюмо двинулись к выходу. Александра Ипполитовна с полными слез глазами пошла за нами.

— Зачем она плачет? — шепнула мне Сима. — Разве при них можно плакать?

Я не все принимала в Александре Ипполитовне. Но многое, очень многое можно и должно было ей простить. Молодая женщина, женщина с головы до ног, со всеми женскими качествами и недостатками, красивая, заботливая, добрая, с ярко выраженным инстинктом материнства, неведомыми мне путями пришла она в партию. Но пришедши в нее, никогда не поколебалась, не отступила. Первый раз она была арестована на 8-ом месяце беременности. Всю оставшуюся беременность провела она в Бутырской тюрьме. В тюремной больнице родила она сына. Вместе с ребенком в этапном порядке ее направили в ссылку. В этапе ребенок умер. В пятой ссылке Александра Ипполитовна забеременела вторично. Беременную, ее снова бросили в тюрьму и в этап. В этапе произошел выкидыш. Еще не вполне оправившуюся, ее везли этапом на Соловки. Она крепилась, она держалась. Только бы не отстать от товарищей, не остаться одной. С болью смотрели на нее наши товарищи, мужчины.

— Александра Ипполитовна, в вагоне мы добьемся соединения! — крикнул ей вслед Примак.

Во дворе внутренней тюрьмы стоял, готовый при-

нять нас, «черный ворон». Мы, трое, зашли в него, двери захлопнулись, зашумел мотор... Последний слепой рейс по московским улицам... Мы молчали. Александра Ипполитовна кусала губы, но слезы текли по ее щеке.

Когда «черный ворон» остановился, нас вывели из него. Прямо перед нами оказались открытые двери столыпинского вагона, загнанного на запасные пути. Вагон был пуст. Только конвой. Он пропустил нас мимо себя, загнал в одну клетку и запер ее дверь. В клетке, рассчитанной на восемь человек, нас было только трое. Минут через пятнадцать за стенами вагона послышался шум подъезжающих машин. Двери вагона открылись, началась погрузка мужчин. Их было много, очень много. Оборванные, заросшие, проходили они мимо решетки нашей двери и заполняли одну клетку за другой. В нашей клетке было много свободных мест. Мужчин набивали, как сельдей в бочку. Последними грузились наши товарищи. Их всех загнали в одну клетку. Проходя мимо нас, Студенецкий сказал:

— Ваши и наши вещи погружены в тамбур вагона.

В вагоне надзор разрешил нам и нашим мужчинам, то есть политическим, обмениваться куревом и продовольствием. У Симы была огромная корзина всякой снеди, переданная ее родителями. Сима к еде не прикасалась. Зато мы, особенно мужчины, отдавали ей должное.

С Симой, моей ровесницей, я очень сдружилась. Она привлекала меня своей жизнерадостностью, простотой, начитанностью. Подробно рассказывать о Соловках она отказалась.

— Вы же сами едете туда, сами все увидите, во

всем разберетесь. Я не хочу говорить, может быть, это только мое предвзятое мнение.

Александра Ипполитовна, горевавшая о вятской ссылке, смотрела на будущую жизнь на Соловках очень мрачно. Она допытывалась у Симы о подробностях расстрела 19 декабря. Сима молчала.

Я чувствовала, что Сима рвется на Соловки, мечтает о них, считает дни этапа. Сперва я недоумевала, а потом поняла, там же остались ее друзья, а может быть, любимый человек. Сима тревожилась за них. Она мне говорила, что в тюрьме отошла от политики, что не она ее сейчас интересует, что ни к чему заниматься политикой в тюрьме. Сейчас она была увлечена занятиями по философии.

— На Соловках есть замечательные люди, — говорила мне Сима, — Гольд, Иванов, Гальфготт. Это изумительные люди! Гольд занимался со мной по философии. Мы проработали Маха, Авенариуса... Сейчас мы продолжим рассмотрение философии Беркли.

О внешней жизни Соловков Сима говорила охотно. От нее я узнала, что политзаключенных в 23-ем году перевезли из Петроминска на Соловки. На Соловках бывшее монастырское хозяйство было ликвидировано. На главном острове на берегу моря, в кремле, разместилось управление лагеря, заключенные — уголовники и «каэры» (контрреволюционеры). Заключенные свободно передвигаются по всему острову, но содержатся в очень тяжелых условиях. Скученность, тяжелые работы, плохое питание, произвол администрации...

Всех политических, то есть социал-демократов, эсеров и анархистов держат отдельно, изолированно, в глубине острова, в бывших скитах. Там созда-

но для них за колючей проволокой заключение, так называемый «политрежим».

Сперва для политзаключенных были отведены два скита — Савватьевский и Муксолмский. Сейчас по мере увеличения числа заключенных, организуется третий — Анзерский. Выход за колючую проволоку не разрешен. Вдоль ограды вышки с часовыми. За ней надзора нет. Раз в неделю приходит надзор с поверкой. Всей жизнью в зоне ведает старостат, выбранный заключенными. Каждая фракция имеет своего старосту. Переговоры с администрацией тюрьмы ведут только старосты. В скитах самообслуживание. Сами заключенные топят печи, варят еду, убирают помещение, стирают белье. Для этого из заключенных созданы рабочие бригады. Вся соловецкая администрация состоит из осужденных, проштрафившихся коммунистов-чекистов и пр. Условия очень тяжелы из-за того, что на полгода Соловки бывают отрезаны от материка. Только изредка поморам удается пробиться на своих лодочках. Ни почты, ни газет. Заключенные чувствуют себя полностью во власти местной администрации.

— Вся наша жизнь, — говорит Сима, — окрашена этим. Окрашена борьбой за сохранение режима, который существует, «политрежима». У нас довольно хорошая своя библиотека, составленная из личных книг заключенных, организована школа для повышения знаний, существуют кружки для занятий по различным вопросам. Иногда читаются доклады и лекции. Есть любительский кружок, ставящий спектакли. Вот это все — свою внутреннюю независимость — мы и отстаиваем в своей тюремной борьбе. Выходит у нас наш тюремный журнал «Сполохи». В нем есть целый ряд статей, освещающих события 19 декабря.

Нового представления о Соловках у меня не получалось, разговор наш перескакивал с темы на тему, велся урывками. Александра Ипполитовна рассказала мне о Примаке.

Пятнадцатилетним юношей принял Примак участие в подготовляемом террористическом акте, был арестован и приговорен к повешению. Как подростку, не достигшему еще совершеннолетия, смертная казнь была заменена пожизненным заключением в крепость. Пятнадцать лет провел он в одиночном заключении, кажется, Орловского централа. Освободила его Февральская революция 1917 года. Сесть пятнадцати лет, выйти на волю тридцати...

С грустной улыбкой он рассказывал, что когда его вызвали в тюремную контору, сообщили об освобождении и выдали чемоданчик с его личными вещами, он, не веря ни во что, спешил выбраться из стен тюрьмы. Неуверенно, прижимаясь к стенам домов, спешил он уйти как можно дальше от тюрьмы. Он не верил в свободу, он разучился общаться с людьми. Вышел он из тюрьмы с совершенно разрушенным здоровьем.

— Он и сейчас весь больной, — говорила Александра Ипполитовна, — и такого везут на Соловки.

Я слушала Александру Ипполитовну и передо мной вставал образ Примака. Невысокая обрюзгшая фигура с серым, одутловатым лицом, с большими серыми ласковыми глазами и суровой складкой между бровей...

На Ленинградском вокзале нас снова разлучили с нашими мужчинами. Из «ворона» нас высадили у ворот женской пересыльной тюрьмы. В этой тюрьме мы должны были дожидаться этапа на Соловки.

Нравы ленинградской пересыльной тюрьмы были совсем отличны от режима внутренней Лубянской тюрьмы. Никаких выводов из камер не полагалось. Уборная и раковина для умывания находились тут же, в камере, за ширмой. От заключенных требовался образцовый порядок в камерах. Доблеска должен был быть начищен кран, большой медный чайник, миски. Но утомленные вынужденным бездействием заключенные сами с остервенением натирали посуду и мыли полы.

Поразила нас старушка-надзирательница, часто заходившая к нам в камеры и делившаяся с нами своими наблюдениями. Тринадцать лет работала она в этой женской пересыльной тюрьме.

— Вы-то все молодые, — говорила она, — вас я раньше не встречала, а пришлось мне и своих прежних арестанток повидать. При царе сидели и опять сидят. И хорошие женщины, и чего им только надо. Уголовных я не люблю, позорные они. С ними я очень строгая.

В камере, кроме нас троих, не было никого. К нам старушка относилась изумительно. Она приносила нам из дому иголки, нитки для вышивания, крючок и спицы для вязания. Александра Ипполитовна чувствовала себя в этой тюрьме очень хорошо. Она отдыхала от этапа, проделанного от Вятки. Кругом было светло и чисто. Она разбирала свои вещи, показывала нам свои платья, вышивки, изящные женские рукоделия.

Я, наконец, тоже смогла открыть свой чемодан. И смех, и слезы!.. Много веселья вызвали у нас вещи, которые Аня собрала для меня, арестантки,

идущей этапом на Соловки: белое маркизетовое платье, платье из черной шерстяной вуали, белая пикейная юбка, маркизетовая блузочка цвета морской волны.

Зная свой гардероб, я просила сестру сшить мне простое синее платье для этапа. Я нашла синее платье, то, про которое мне Аня на свидании сказала — «сшила тебе Клава»... Боже мой! Оно оказалось японкой, с открытым воротом, с незашитыми до талии, как тогда носили, рукавами.

Тут были и духи, и пудра, которые я на воле не употребляла... Сима была в восторге. Она уверяла, что все это незаменимые вещи для драмкружка на Соловках:

— Если бы вы знали, Катя, какие мы ставим спектакли! У нас есть два замечательных художника, Леонид Касаткин и Энсельд. Энсельд, собственно, не наш, не политический, он просто эстонский художник. Он ехал из Эстонии в Ленинград, и его попросили отвезти письмо от Чернова к его детям. При аресте нашли это письмо. От него требовали на допросе сказать, как попало к нему это письмо и кому он должен был передать его. Энсельд ответил, что он честный человек и ничего не скажет. В результате ему дали три года Соловков. Политические с большим трудом добились помещения Энсельда в скит. Так и живет он при коллективе, не входя ни в какую фракцию. Политикой не интересуется, рисует.

Александра Ипполитовна сразу же вооружилась иглой, приспособлять мои одежонки к нашему образу жизни. К счастью, по папиному настоянию, в чемодан был положен полушубок брата, сослужив-

ший мне большую службу и как одежда, и как подстилка на тюремных полах и нарах.

Неделю провели мы в ленинградской пересылке. Сима все время болела желудком, ото дня ко дню температура поднималась. Лицо ее горело, но она категорически отказывалась обратиться к тюремному врачу. Она боялась, что ее отставят от этапа. Выручила ее Александра Ипполитовна. Она вызвалась к врачу, представилась больной, принесла в камеру целую бутылку касторки. Мы смеялись, приняла касторку Сима, но будь уборная вне камеры, выпускали бы на оправку вне очереди больную Шестневскую!

Стычки с конвоем на этапе

Когда нас на «вороне» привезли вновь на вокзал и погрузили в вагон, мы, проходя по коридору столыпинского вагона, в одной из клеток увидели наших мужчин. И они приветствовали нас радостными возгласами. Александра Ипполитовна хотела на минуту задержаться у решетки их двери, но конвоир с грубым окриком затолкнул ее в соседнюю клетку. С криком затолкнул он и меня, и Симу туда же.

В отделении мужчин начался шум, крики.

— Не смейте рукоприкладствовать, не трогайте женщин! Вызывайте старшего по конвою!

Мы кричали мужчинам, чтобы они не волновались, мы боялись за них, но наш крик тонул в общем гаме.

Через пятнадцать минут явился начальник конвоя.

— Кто меня вызывал? Что за крики? В карцер захотели?

Ему отвечал староста Студенецкий.

— Мы требуем, чтобы ваши конвоиры не распускали рук. Вы везете политических и, если не хотите конфликтов, извольте соблюдать вами же установленные правила.

— Что здесь произошло? — сразу же изменил тон старший.

— Об этом пусть вам доложат ваши подчиненные. А мы вас просим приказать им соблюдать правила. Или в правилах ваших разрешается рукоприкладство? Царский конвой держался приличнее.

Высокий, седой, давно не бритый Студенецкий по одну сторону решетки, молоденький, подтянутый чекист — по другую. Они как бы меряли глазами друг друга.

— Я проверю все, но арестантов прошу подчиняться всем распоряжениям конвоя.

— Не всем, — перебил его Студенецкий, — всем законным требованиям. А вы извольте дисциплинировать конвой. Вы ответите еще за избиение ленинградских студентов прошлого этапа.

Избиение?.. Это ошеломило нас. Когда? Кого? О чем говорят мужчины? Через несколько минут после ухода старшего мы получили записочку от товарищей.

Под шум и крики они провертели дырочку из своей клетки в нашу и просунули через нее нитку. По ней продергивалась записка от них к нам и обратно.

Этап, прошедший неделю назад, вез на Соловки группу ленинградской студенческой молодежи. Молодежь запела революционные песни. Как развернулись в вагоне события, мужчины не знали, но в пересыльной тюрьме им рассказали, что в вагоне

были выбиты стекла. Очевидно, было какое-то столкновение с конвоем. Кого-то из заключенных ранили до крови. Уголовные, мывшие вагон, смывали кровь.

Нам товарищи предлагали проявлять как можно больше выдержки, не дать возможности конвою спровоцировать нас на инцидент. Но поведение конвоя изменилось. Нас по первому требованию выпускали в уборную, снабжали водой, даже разрешали стоять в коридоре вагона, смотреть в окна. Между нами и мужчинами все время шла переписка. А конвой безотказно передавал от них к нам и обратно папиросы, спички, продукты.

И все-таки, после столкновения с конвоем мы все ощущали, что Россия остается позади. Мы покинули Ленинград, мы в руках соловецкого конвоя, в преддверии Соловков.

Не веселила и природа за окнами. Тундра, мох, жалкая травка, кое-где кустарники, кое-где кривая низкорослая березка... Болотистая равнина, серое небо, тундра... О такой учила я в географии.

Мы ехали на Архангельск через Кемь, здесь материк соединялся дамбой с Поповым островом.

На Поповом острове

На станции Кемь наши арестантские вагоны придвинули вплотную к дамбе. Началась выгрузка арестантов. Нас, политических, выгрузили в последнюю очередь. Впереди стояла длинная колонна заключенных, нас, по сравнению с уголовными, была ничтожная горстка, десять мужчин и три женщины.

По пять человек в ряд выстроилась колонна. За уголовниками шли наши мужчины, заключали строй мы, женщины. Началась перекличка. Поименная. Поштучная. Каждая пятерка выходила на пять шагов вперед. Этапный конвой сдавал этап, конвою перпункта Попова острова.

Вдоль всего строя и всей дамбы стоял конвой с ружьями наперевес. Медленно, пятерка за пятеркой, двигался строй заключенных по дамбе к воротам, расположенным на другом ее конце, при входе на остров.

Дамба представляла собой земляную насыпь с настилом из досок. О насыпь били волны Белого моря. Островок был маленьким клочком серой земли, виднелись крыши приземистых деревянных бараков, вытянувшихся в одну линию. А вокруг необозримый водный простор.

Сима восторженно говорила о Соловках, о их природе, о чудесных лесах. Трудно было поверить ей, глядя на этот клочок земли.

Только колючая проволока ограждала остров, да ворота у дамбы. За воротами шел тот же деревянный настил. Земля была кочковатой, топкой. В четырех местах на высоких столбах возвышались вышки часовых.

В ворота сперва пропустили уголовных, за ними прошли наши мужчины со своими и нашими вещами. Когда мужчины скрылись в одном из бараков в конце острова, пропустили и нас.

Ни деревца, ни кустика. Только у самых бараков поселка редкая травка. Мне она напомнила пасхальное блюдо с всходами овса, на которое укладывались крашеные яички. Только реденьким и

жалким был этот овес. Серый тоскливый день висел над серым островом, над серым морем.

Нас завели в первый барак от ворот направо. Ни одного человека не было видно на всем острове.

Барак, в который нас завели, был похож на пустой сарай с прорезанными окнами. Решеток в окнах не было. В одном углу длинного узкого помещения стоял сбитый из досок стол, такой же серый и грязный, как пол.

Мы знали, что политзаключенных не изолируют в лагере друг от друга. Почему же отделили нас от мужчин? Нас было всего трое. На этом унылом, от всего мира отрезанном островке, в этом мрачном бараке мы чувствовали себя покинутыми. Даже надзора за окнами не было видно. Мы стучали в дверь, но никто не подходил к ней. Усталые, грязные, голодные уселись мы прямо на грязные доски пола и молча ждали, что будет.

Так просидели мы около часа, а может быть, и больше. Наконец в дверях барака щелкнул замок. В барак вошел надзиратель. В руках в него был сверток.

— Передача из мужского барака,— сказал он.

— И у нас к ним будет передача, — беря пакет сказала Александра Ипполитовна.

Ничего не отвечая, надзиратель вышел и запер дверь.

Мужчины прислали нам хлеб, сахар, коробку консервов. В хлебе мы нашли записочку. Писал Примак. Он просил нас не волноваться. Наш староста Студенецкий уже говорил с администрацией, нас соединят с мужчинами как только закончится прием этапа, после того, как мы будем пропущены через баню. Староста был уже в ларьке и шлет передачу.

Настроение наше поднялось. Уж очень неприглядно было в бараке. Есть не хотелось, мы снова приткнулись на полу. Не знаю, спал ли кто, я не спала. Перед вечером опять загремел замок, нас повели в баню.

По бугристой неровной тропинке мы пересекли почти весь островок. Баня стояла у края острова. Это был низенький, но просторный деревянный сруб с чаном нагретой воды, с деревянными скамьями и шайками. Бане мы были рады. А обыск носил такой поверхностный характер, что мы его почти не заметили. Белье и платье наше взяли в прожарку и выдали нам по маленькому кусочку мыла. Вещи наши были у мужчин, и переодеться мы не могли. Женщина-уголовная, топившая баню, сказала нам, что прошлый этап тоже трех баб мыла, только те были совсем молоденькие. Их последним пароходом отвезли на Соловки. От нее мы узнали, что пароход ходит раз в неделю, или раз в две недели, как людей наберется. Сейчас он еще с Соловков не вернулся, но его ждут не сегодня-завтра.

Из бани нас привели в тот же барак. В нем стояли уже наши вещи, и, к нашему удивлению, дверь за нами не заперли. Мы вышли на крыльцо. Никого. Даже конвоя не видно. Потом где-то в конце островка группу мужчин провели в баню. Может быть, наших? Мы достали белье, переоделись. Нам захотелось есть. Стоя у стола, ломали мы хлеб, макая в консервы. Чистым, нам не хотелось опять садиться на пол. Мы толкались от двери к окну. Мы могли выйти из барака, но не хотелось.

Как-то неожиданно услышали мы шум шагов, в окно увидели наших мужчин, одних, без конвоя. Они шли к нам также чистые, вымытые, побритые.

Радость наша была неописуемой. Мы жали друг другу руки, как будто разлучились не утром, а много дней назад.

Мужчины принесли много новостей. Студенецкий сговорился с начальником перпункта: вечером, после поверки, нас переведут в их барак. Их барак лучше, в нем есть нары, и состоит он из двух половин. Бараки уголовных запираются на замок, наш будет весь день стоять открытым, мы можем ходить по острову и только на поверку должны заходить в барак. Питание мы будем получать из лагерной кухни два раза в сутки. В лагерном ларьке мы можем получать продукты. Мужчины уже выбрали завхоза, Льва Наумовича Тавровского. Ему они передали все свои деньги и продукты, что остались от этапа. Он будет ведать всеми покупками и кормить нас. С радостью поспешили мы отдать Льву Наумовичу наши денежные квитанции.

Идя к нам, мужчины видали, что к острову подходит пароход с Соловков. Когда он пойдет обратно на Соловки, начальник Студенецкому не сказал.

Тут в сутолоку нашей встречи ворвался дикий, безумный, нечеловеческий крик, а следом в наш барак вскочил один из товарищей, стоявший за дверью барака:

— С парохода кого-то волоком волокут! — крикнул он. — А он кричит и отбивается.

Первой сорвалась и бросилась за дверь Сима. За ней Никола, а потом и мы все. Вдоль по настилу между бараками два конвоира волокли по земле человека, а он отбивался, упирался, вопил, то замолкая, то дико взвизгивая. Очевидно, его волокли с парохода к вахте, расположенной как раз против

нашего барака. Они приближались к нам, а мы сгрудились около дверей.

И Сима узнала:

— Это Козлов! — закричала она. — Он душевнобольной. Его давно должны были вывезти в психиатрическую лечебницу. Что они с ним делают!

Не дослушав Симу, вернее, услышав, что это наш больной товарищ, Никола, высоченный, широкоплечий 23-летний парень угрюмо, с сжатыми кулаками пошел навстречу к приближавшимся. Сквозь нашу толпу за ним стремительно двинулся Студенецкий.

— Николай, стой, говорил он, — пусти меня, слышишь?

Но Николай, как гора, стремительно двигался вперед.

— Прекратите издевательства! — кричал он, — что вы, мерзавцы, делаете? Больных так возите?!

Между Николаем и конвоирами было шагов пять, не больше. Один из конвоиров, тащивших заключенного, выпустил его из рук, выхватил винтовку и направил ее прямо в грудь Николая.

Я видела взбешенное, разгоряченное, налившееся кровью лицо конвоира, поднявшего винтовку, и спину Николая, двигавшегося вперед.

Откуда-то, вероятно с вахты, выскочивший надзиратель, наотмашь ударил по прикладу ружья. Выстрел грянул, но пуля прошла мимо.

— Заходи в барак! — орал старший. — Вот вас не запирай! Видали, что у вас делается!

— Что у вас делается?! — как-то хрипло, но громко отвечал Николай.

Сима стремилась вперед, к Козлову. Он, видимо, узнал ее. Освободившейся рукой он приветственно махал и что-то радостное выкрикивал нам.

На выстрел из вахты бежала уже толпа надзирателей. Они оцепили нас кольцом и начали оттеснять к бараку. Теперь Козлов шел и мы расслышали, он кричал нам:

— Не мешайте мне с ними бороться, я еще им покажу, палачам!.

Козлов и надзор скрылись в дверях вахты. Мы же стояли в самых дверях барака. Но Студенецкий сказал:

— В барак заходить не будем, пока не явится комендант лагеря.

Через несколько минут явился старший и сказал, что Студенецкого вызывают в комендатуру. Уходя, Студенецкий просил нас зайти в барак и спокойно ждать его возвращения.

В бараке Сима рассказала нам о Козлове. Обычно очень мягкий и чуткий товарищ, временами впадал он в полное психическое расстройство и с течением времени становился все раздражительнее. Приступы сумасшествия появлялись все чаще. Он начинал протестовать тогда против тюремного режима. Сперва нервное напряжение длилось часами, и его удавалось уговорить, успокоить. Потом приступы стали принимать тяжелый характер. Он писал бесконечные протесты против заключения социалистов в тюрьму и требовал свободы слова, потом стал буйствовать, рваться за ограду тюрьмы. А когда его удерживали товарищи, бил стекла в окнах, бросал табуреты в дверь.

— Решеток в окнах у нас нет, — говорила Сима, — двери открыты, мы свободно гуляем по двору внутри колючего заграждения. Если он полезет под заграждение, часовой будет стрелять. Его нельзя было выпускать, двери его камеры запирали. Тогда

он объявлял голодовку. Мы просто не знали, что с ним делать, старостат добивался вывоза его на лечение.

Студенецкий вернулся от коменданта. И я получила первый настоящий урок коллективной жизни заключенных в тюрьме.

Николай Замятин казался мне героем, не дрогнув ставши под дуло направленного на него ружья. Он попросту отдавал свою жизнь за товарища. А теперь Николай стоял красный, смущенный, и Студенецкий его отчитывал.

— Я должен был там оправдывать твое поведение, они хотели взять тебя в карцер. Странно, что мне приходится объяснять именно тебе. Ты вел себя, как мальчишка. Какое ты имел право выскакивать вперед из коллектива? Или у нас нет старосты? Что мы должны были бы делать, если б эта шальная пуля задела тебя? Так ты поддашься на любую провокацию. Разве ты не знаешь, что ты член коллектива и не должен допускать никаких индивидуальных выступлений? Ты понимаешь, в какую историю ты мог вовлечь нас, и шире, чем нас?

У коменданта перпункта Студенецкий добился свидания с Козловым. Впечатление от свидания было очень тяжелым. Козлов был совершенно невменяем. Он кричал на Студенецкого:

— Вы хотите сидеть в тюрьмах, и сидите, а я не хочу! Я будут протестовать! Пусть убивают социалистов, в тюрьмах держать не смеют!

Комендант обещал Студенецкому завтра же направить Козлова в больницу. Пока его заперли одного в пустом бараке.

Вечером нас перевели в барак к мужчинам. Барак был чище и светлее нашего. Вдоль стенки его

шли широкие сплошные нары. Двери барака не запирались. В обед и вечером в барак приносили бочку с отвратительной вонючей жижей — похлебкой. Кроме того, мы получали политпаек, по два куска сахара и по тринадцать папирос на курящего. Наш завхоз выдавал нам из объединенных средств добавочное питание.

Дни тянулись томительно. Мы ждали вывоза на Соловки. Больше всего говорили о них, о жизни, которая ожидала нас.

Отступление: о Соловках. 19 декабря 1923 г.

Все услышанное мной о Соловках обрело реальность только тогда, когда я сама попала на острова, когда своими глазами увидела кремль, скиты, условия заключения, заключенных и надзор. Здесь, на Поповом острове, я подробно узнала о событиях 19 декабря 1923 года. Здесь, во время столкновения с Козловым, я ощутила, что попали мы в новые условия, невозможные на материке. Здесь я увидела и Симино пальтишко, в трех местах пробитое пулями, которыми надзор стрелял по заключенным. Как сумею, так и расскажу об этом сейчас, тем более, что рассказом этим было освещено пребывание на перпункте.

Арестовывать эсеров начали в 1918 году. Сперва их отправляли в ссылки, затем стали посылать в политизоляторы и лагеря. Несколько позже аресты распространились и на левых эсеров, еще позднее на социал-демократов. И на анархистов. На севере России, на Мурманском побережье, в Петроминском монастыре был создан лагерь для изоляции полит-

заключенных. Тогда же в Суздальском монастыре был создан политизолятор и разработан режим, на котором стали содержать политзаключенных. Под эту рубрику подводились не все политические «преступники», а только члены социалистических партий и анархисты. Члены других политических партий — кадеты, трудовики, народные социалисты, мусаватисты, словом, все, не стоящие на социалистических позициях, не причислялись к политическим. Они назывались «каэрами» (контрреволюционерами) и содержались в лагерях и тюрьмах на общем режиме вместе с уголовными.

Конечно, и нас, социалистов, обвиняли в контрреволюционной деятельности, но режим наших политизоляторов и лагерей резко отличался от общего режима — кое в чем он был легче, кое в чем значительно строже. Политзаключенные получали некоторую надбавку к общему питанию. Они были освобождены от принудительных работ, не подвергались оскорбительной для человеческого достоинства поверке, в политизоляторах допускалось самоуправление, политзаключенные выбирали из своей среды старостат и, в основном, только через него сносились с администрацией. Политзаключенные сохраняли при себе все свои личные вещи, одежду, книги, письменные принадлежности, часы, ножи, вилки и даже бритвы. Могли выписывать журналы и газеты. Зато изоляция их от внешнего мира производилась значительно строже. Ограничивалась свобода передвижения по лагерю или тюрьме. Ограничивалась переписка с волей, свидания с родными. В отношении к социалистам все было как-то двойственно: с одной стороны, нам часто приходилось слышать о том, что мы — не арестанты, а политзаключенные, с

другой, той же администрацией внушалось надзору, что мы — опаснейшие враги народа. Но мы все же рассматривались как социалисты.

Отметание идейных противников в лагерь врагов — опасный путь. По мере развития созидательного процесса построения «социалистического» общества число инакомыслящих росло. Начались идейные расхождения внутри самой партии большевиков. Росло количество репрессированных. Ожесточалась борьба за сохранение власти. Завинчивался режим в местах заключения.

Заключенные социалисты всегда вели в тюрьмах борьбу за режим, за сохранение своих маленьких арестантских прав. Летом 1923 года всех заключенных из Петроминского лагеря перевезли на Соловки. Центром Соловецких лагерей стал старинный кремль, расположенный на берегу моря. Там, в бывших монастырских строениях разместилась администрация лагеря, продовольственные склады, больница. Там же были сосредоточены все уголовные и каэры. Политзаключенных завезли вглубь острова и поместили в бывших монашеских скитах. Уголовные могли свободно передвигаться по всему острову, политзаключенные не могли выходить за колючую проволоку, окружавшую скит, даже приближаться к ней. За этим следили постовые с вышки. За колючей проволокой возле скита стоял административный корпус, где помещалась комендатура и жил надзор.

Савватьевский скит, отведенный под лагерь, состоял из двух двухэтажных зданий, бывших в свое время гостиницей для приезжавших на остров богомольцев. Большой красный кирпичный корпус стоял на берегу небольшого озера, второй, желтый кор-

пус отстоял от первого шагов на тридцать. Вокруг обоих зданий, захватывая небольшую площадь двора и часть озера, шла колючая проволока, по четырем углам ее поднимались вышки часовых. За проволокой шел чудесный лиственный лес. За проволоку заключенные не могли выходить, зато и конвой не заходил к нам за проволоку. Два раза в сутки, в 6 часов утра и в 6 часов вечера, на территорию лагеря приходил старший надзиратель и, обходя камеры вместе со старостой, производил поверку, подсчет заключенных. Заключенные внутри проволоки были хозяевами своей жизни.

Каждая фракция, эсеры, с.-д., анархисты, избирали из своей среды старосту. Таким образом, создавался старостат, ведавший всей жизнью тюрьмы и сносившийся по всем вопросам с администрацией. Хозяйственной жизнью ведали так же по фракциям выбранные завхозы. В их распоряжении были бригады заключенных — поваров, истопников, уборщиков, дровоколов, подсобных рабочих. Каждый заключенный работал в какой-нибудь бригаде и нес дежурство по лагерю.

Кроме общей каптерки, в которую поступали общие продукты питания, выдаваемые лагерем и присылаемые Красным Крестом Помощи Политзаключенным, возглавляемым Е. П. Пешковой, каждая фракция имела свою каптерку. В ней сосредоточивались все денежные переводы и посылки, получаемые заключенными от родных.

Из Петроминска на Соловки была переброшена большая группа заключенных. С ними прибыл и конвой. Режим оставался прежним, оставалось только освоить новое место заключения.

Из личных книг заключенных была создана би-

блиотека. Церквушка, примыкающая к красному корпусу, была превращена в «культ». Там проводились собрания коллектива, занятия школы, созданной самими заключенными, делались доклады на разные темы. В общем, шла повседневная арестантская жизнь. Получались письма, газеты. Кое к кому из заключенных приехали на свидание жены и матери. Новым, характерным для Соловков, было одно — заключенные знали, что Соловки на зиму будут отрезаны от всего мира. В конце декабря закроется навигация, и на 6 долгих месяцев прекратится всякая связь с материком, разве когда пробьются поморы на своих утлых лодочках через узкую полосу незамерзающего бурного течения. И по лагерю ползли нехорошие слухи. Намечается изменение тюремного режима. Тюремная жизнь завинчивается. Ликвидируется политрежим.

Откуда пришли и как проникли эти слухи, сказать трудно, тюрьма всегда живет слухами. На тюремном языке их называют «парашами».

Слух о завинчивании режима креп. Заключенные начали нервничать. Что сулит им зима на отрезанном от мира острове? Режим тюремный — жизнь для заключенного. Режим мягкий — заключенному есть чем дышать, чем жить за тюремной стеной. Режим завинчивается — и начинается борьба за жизнь, борьба за режим.

В один из приездов на Савватьевский скит начальник управления Соловецких лагерей Эйхманс объявил старостам, что им получен новый приказ, новые инструкции о режиме для политзаключенных на Соловках, что в настоящее время он уточняется и постепенно будет вводиться в жизнь. Пока он сообщает, что с 20 декабря переписка ограни-

чивается тремя письмами в месяц и прогулочное время будет сокращено. С поверки, с 6 часов вечера до 6 часов утра заключенным будет запрещено выходить из корпусов.

Старосты, даже не советуясь с коллективом, сразу заявили Эйхмансу, что такого нововведения коллектив не примет, что оно невозможно в условиях Соловков. Не выходить из корпуса после 6 часов вечера заключенные не могут, хотя бы потому, что ужин разносится из корпуса в корпус после 6 часов. Ограничение же переписки на Соловках, где з/к пользуются правом переписки фактически только полгода, да и переписка идет очень замедленно из-за частых простоев пароходов, сводит всю переписку на нет. Свое заявление старосты сделали и для того, чтобы прощупать настроение администрации, может быть, узнать из разговора, какие еще изменения несет новая инструкция.

Ни в какие разговоры Эйхманс вступать со старостами не стал. Он коротко объявил, что инструкция ему дана и, начиная с 20 декабря, он будет осуществлять ее всеми мерами.

20 декабря было сроком прекращения навигации, значит администрация намерена была осуществлять новую инструкцию тогда, когда всякая связь с волей будет прервана. Неясные слухи превратились в еще более ясную действительность.

Общее мнение всех з/к всех фракций было едино. Подчиниться и принять новый режим нельзя. Отказ Эйхманса объявить инструкцию в целом, очевидно, возникал из желания отнимать у з/к одну привилегию за другой, тихой сапой завинчивая режим. Решение не принимать новый режим было

у всех, но по поводу способов борьбы за режим сразу наметились расхождения. Эсеры, левые эсеры и анархисты решили — прогулок на тюремном дворе не прекращать, и, чтобы гуляние продолжалось весь день, разбились на группы, которые сменяли друг друга в определенные часы и до, и после поверки, проводимой в 6 часов вечера. Социал-демократы сочли, что демонстрировать прогулки после 6 часов вечера не нужно, что следует присмотреться к тактике администрации.

Между тем, в Савватьев прибыл новый начальник скита Ногтев. На переговоры к нему в 5 часов вечера 19 декабря пошел староста эсеров Иваницкий. Гулявшие во дворе товарищи видели, как Иваницкий вернулся в корпус. Ногтев его не принял.

Лагерь жил еще спокойной жизнью. Каждый занимался своим делом. Обычно, в 6 часов вечера с колокольни скита ударами в колокол объявляли поверку. До поверки з/к гуляли во дворе. Гуляла и Сима со своими друзьями, Жоржем Кочаровским и его женой Лизой Котовой. Гуляющих было довольно много. Внезапно они увидели, что из административного корпуса выходит наряд конвоиров с ружьями наперевес. Цепь конвоиров окружила весь прогулочный двор, и сразу же раздалась команда: «Заходи в корпус!» и «По мишеням пли!» Раздался залп. Все, кто был в корпусе, услышав выстрелы, вскочили, бросились к окнам, к лестнице, на двор. Навстречу им несли уже раненых и убитых. А на дворе зазвучала новая команда и раздался новый залп. З/к поднимали раненых товарищей и несли их в корпус. В дверях создалась пробка. По ней, по толпе, заходящей в корпус, был выпущен третий залп.

Жорж Кочаровский, высокий широкоплечий мужчина, после первого залпа пытался загородить собой Симу и Лизу. Он свалился, тяжело раненный в живот. Лиза, убитая наповал пулей, попавшей ей в затылок, сползала на землю из рук Симы. Пять пробитых пулями дырочек показывала нам Сима на своем пальтишке. Сима осталась цела.

В этот день дежурный на Соловках не звонил в колокол на поверку. Шесть человек убитых и трое тяжелораненых были занесены в корпус за 20 минут до поверки, до 6 часов вечера.

Эсер Белкин, врач по специальности, пытался оказать первую помощь раненым. Жорж Кочаровский, крепкий, здоровый, молодой, не хотел умирать. Двое суток он оглашал корпус своими криками. Весь живот его был разворочен, разорван в клочья. Кронид Белкин извлек из раны разрывную пулю.

20 декабря в скит прискакал Эйхманс. Он вызвал в административный корпус старост. Он заявил им о печальном недоразумении, о снятии Ногтева с поста, об отдаче его под суд. Старосты скита не вступили в беседу с Эйхмансом. Они заявили только, что двоих тяжело раненых нужно немедленно направить в больницу, что з/к хотят сами похоронить убитых товарищей. Эйхманс разрешил все. За колючей проволокой вдоль ограды з/к выкопали братскую могилу. В день похорон весь лагерь был выпущен за ограду. Шесть гробов были спущены в братскую могилу. «Вы жертвою пали...» — пел хор арестантов. Большой валунный камень был водружен на могилу. На нем высекли товарищи имена погибших. Может быть, и сейчас еще лежит этот ка-

мень возле Савватьевского скита. Я знаю только, что после вывоза с Соловков политзаключенных в 1925 году он был повернут так, чтобы имен погибших не было видно.

Мертвые были похоронены, живые должны были жить дальше. Жить дальше должен был муж убитой 19 декабря Наташи Бауэр, друзья убитых, их товарищи. Ни о каком изменении режима, ни о какой новой инструкции никто не говорил больше: ни з/к, ни администрация. Заговорили о ней ровно через год, когда я была уже на Соловках.

Весной 1924 года, когда возобновилась навигация, из Москвы на Соловки прибыла комиссия ОГПУ для разбора дела. К этому времени з/к уже знали, как лживо было описано событие 19 декабря в коммунистических газетах. В «Правде» петитом была набрана маленькая заметка о том, что на Соловках при столкновении конвоя с з/к, напавшими на конвой, было убито 6 человек. В коммунистической «Роте фане» был помещен целый подвал, описывающий бунт з/к на Соловках. В ней говорилось, что взбунтовавшиеся з/к установили сигнализацию между скитами и, вооруженные вилами, топорами и другим оружием, напали на конвой.

З/к Савватия через своих старост заявили комиссии, что показания они будут давать лишь в том случае, если в разборе дела примут участие представители общественности, хотя бы Красного Креста. Твердо отказались з/к давать показания и потому, что узнали дальнейшую судьбу Ногтева. Он, будто бы снятый с работы и отданный под суд, на самом деле работал начальником другого лагеря, из которого на Соловки прибыли новые з/к.

Соловки

Пароход отправлялся на Соловки. Из всех бараков выводили з/к. Я еще не видела такой большой партии арестованных. Оборванные, худые, поднимались они по сходням парохода и ныряли в трюм. Когда нас погрузили на пароход, трюм был полон. Нас поместили на лестнице, спускающейся в трюм, у самого люка. Люк не закрывался, всю дорогу мы могли любоваться морем!

Раньше мне не приходилось видеть моря, — никогда не видела водной шири, никогда не плавала на пароходе. И я смотрела, не отрываясь, на необозримый простор, на пену на гребнях волн, на чаек, летающих и ныряющих в волнах.

После унылого Попова острова я не могла ожидать того чудесного вида, который открылся передо мной при приближении к Соловкам. Над морем круто вверх поднимался берег. На нем, у песчаной отмели, большие зубчатые стены кремля на зеленом фоне векового леса. Весь остров утопал в зелени. Не отрываясь, смотрели мы на край нашего нового жительства. Но кончилась красота природы, пароход причалил к берегу, началась арестантская жизнь. Первыми сошли на берег мы, женщины. Мужчины еще оставались на пароходе, когда нас ввели в кремль, а в нем в маленькое сводчатое помещение. По разбросанным там и тут вещам мы поняли, что помещение обитаемо, но самих обитателей мы не застали. Из окошечка, узкого и забранного решеткой, но открытого, лился свет и свежий воздух.

Мы не успели ни сесть, ни оглядеться, как услышали веселые женские голоса. Дверь отворилась.

Мы увидели трех еще совсем молодых девушек. Каким-то светлым видением показались они мне на пороге тюремной кельи. В светлых легких летних платьицах, со спущенными косами за плечами, оживленные, возбужденные, веселые. Они не подходили к тюремной атмосфере, диссонировали с ней. Я сначала не поняла, кто же эти веселые и цветущие девушки. Мы же, наверное, походили на арестанток, по крайней мере, девушки сразу догадались, кто мы. Так и познакомились, Люся Ионова, Тася Попова, Аня Бахман и мы.

Аня была старшей из них. Ей было около 19 лет. Тася и Люся были моложе. Все они прибыли на Соловки предыдущим пароходом и жили в кремле в ожидании своей дальнейшей судьбы. Привезли их из Ленинграда вместе с большой группой студенческой молодежи. Сейчас они вернулись с прогулки. Ежедневно их водили гулять по острову вместе с «мальчиками», так называли они мужскую молодежь своего этапа. На прогулке их сопровождал, обычно, конвоир. Если конвоир попадался хороший, то его почти не чувствовалось. Вот и сегодня, конвоир разрешил даже покататься на лодке вдоль острова.

Нам девушки очень обрадовались. Они спешили выговорить все, что накопилось в их душах. После следствия, по студенческому делу в Ленинграде, после тоскливого заключения в тюрьме, их вывели на этап. В вагоне они встретились со своими товарищами, студентами. Всю дорогу до Кеми они пели революционные песни. Конвой бесился, он не давал им ни капли воды. В ответ на это, подъезжая к каждой станции, студенты кричали в окна: «Воды! Воды!» Надзор хотел применить репрессии, пота-

щил кого-то в вагонный карцер. Тогда студенты устроили настоящую обструкцию и выбили окна вагона.

Кто были эти девушки?

Люся Ионова была дочерью старого народовольца, каторжанина. Выросла в каком-то ссыльном городке. Она с трепетом говорила об эсерах. Аня, кажется, сочувствовала с.-д. Тася еще не знала, к какому направлению примкнуть. Они все трое говорили о том, как ждут встречи со старшими товарищами, как мечтают в тюрьме выработать свое мировоззрение.

Наперебой угощали они нас вкусными вещами. Папы и мамы, провожая своих дочек в этап, принесли им столько еды и лакомства, что они до сих пор не смогли с ними справиться. А здесь, в кремле, получили уже и новые посылки.

Помещение, в котором мы находились, было так мало, что шесть человек не могли разместиться. Нам и не пришлось в нем ночевать. Сбылось то, о чем мечтали девушки. Вечером нас, шестерых женщин, перевели в огромный кремлевский зал к мужчинам. Зал был уставлен койками, нам отвели одно крыло его, отделенное сводами и арками. Здесь находились наши товарищи по этапу и студенты соэтапники Люси, Ани и Таси. Юноши производили более серьезное впечатление, но и они были еще неоперившимися птенцами. Мечталось им о всяких идеалах, свободе, справедливости, равенстве, тех идеалах, на которых вырастало их поколение. Все свои силы готовилась молодежь отдать им. Много недоуменных вопросов вставало перед ними, со многим спорным и неясным столкнулись они, попав за решетку. Со всеми этими вопросами обратились они

теперь к первым встреченным старым социалистам.

Больше всего волновал группу один вопрос. В их среде находился парень лет 18, Вова Коневский. Был он сухорукий, одна рука у него висела, как плеть. Во время следствия Вова вел себя недостойно, он не устоял, выложил перед следователем все, что ему было известно о борьбе студенчества за свободную школу, назвал имена ряда товарищей. После приговора, встретившись с товарищами, он признался им во всем. Молодежь не могла прийти к единому решению. Одни бойкотировали его, другие считали невозможным осуществлять бойкот потому, что Вова больной, однорукий и без помощи товарищей погибнет в тюрьме, третьи, наконец, полагали, что в связи с полным раскаяньем Вовы, всю историю надо предать забвению. Но на наш вопрос о том, предал ли Вова, все отвечали, что предал. Коневский так и жил. Кто бойкотировал его, кто только сторонился. По большей части он бродил один, при нем воздерживались от споров и бесед, но окончательно отношений не порывали. Решился вопрос Вовы, когда приехали старосты принимать этап в скиты.

Приехали они во время уборки нашего помещения. На время уборки нас выводили из церковного помещения во двор. За мусором, собранным в корзины, приходили уголовные и уносили его. Уголовные рвались к нам на работу всегда: они наедались у нас, да и с собой уносили куски хлеба, миски с тюремной похлебкой. Уголовные голодали. И одеты они были ужасно. Особенно запечатлелся в моей памяти один арестант. Он был одет, как и многие другие, в балахон, сшитый из церковной рясы. Из-под балахона, на сухих, как жерди, ногах болтались

рваные кальсоны, серые, как земля. Лицо его все оплыло от чирьев, осыпавших всю шею и голову.

Здесь впервые увидела я воочию цинготников. О цинге я знала раньше только из учебника географии.

Когда приехали старосты, я стояла на тюремном дворе, который подходил к самому берегу моря, у песчаного откоса, буквально, кишевшего чайками. Толстые, неповоротливые, неуклюжие птицы бесстрашно шныряли у нас под ногами. Боже, как ужасно они кричали! Хотелось заткнуть уши и бежать прочь. Как не походили они на тех прекрасных птиц, которые носились над волнами, сопровождая наш пароход. Я вспомнила свое любимое стихотворение «Чайка» Бальмонта.

Чайка, серая чайка, с печальными криками носится
Над холодной пучиной морской.
Откуда примчалась, зачем, почему ее жалобы
Так полны безнадежной тоской?
Бесконечная даль, беспросветное небо нахмурилось,
Закурчавилась пена седая над гребнем волны,
Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная,
Бесприютная чайка из дальней страны.

Мне было грустно, но грусть моя не ассоциировалась с этими отвратительными, действительно открывшими базар, птицами. От мыслей меня отвлек чей-то голос — «Старосты идут». В наше помещение входили старосты. Товарищи, их знавшие, рассказывали мне: В шинели, среднего роста, худощавый, черноволосый, с карими горячими глазами, староста

Савватьевского скита. Алексей Алексеевич Иваницкий прошел тяжелый путь революционера. При царизме он был приговорен к смертной казни, но с помощью товарищей бежал, жил на нелегальном положении, у него за плечами много лет каторги. Рядом с ним Богданов, староста с.-д., полная противоположность Иваницкому. Широкоплечий коренастый блондин, неплохой оратор, очень эрудированный человек, член ЦК с.-д. Конечно, тоже подпольщик царских времен. С ними шли старосты Муксолмского скита. Старосты побывали уже в административном корпусе и теперь шли к з/к. Кое-кого из прибывших они знали лично.

Савватьевский и Муксолмский скиты были переполнены. Старосты добивались от администрации лагеря открытия нового, третьего скита для политз/к на островке Анзерском, отделенном от Савватия проливом. Старшие товарищи уединились вместе со старостами скитов, обсуждая, кого принять в скиты и как распределить народ между скитами. Большинство нас, вновь прибывших, составляла молодежь. Направить ее одну во вновь организуемый скит было нецелесообразно. С молодежью решил ехать Студенецкий. От него не захотел отделиться Николай Замятин. Хотел переселиться в новый скит и муж Наташи Бауэр, ему очень тяжело было жить на Савватии, где все ежечасно напоминало ему о ее жизни и смерти. Я прямо дрожала от того, как решится моя судьба. Сима, конечно, возвращалась в Савватий. Мне не хотелось расставаться с ней, мне хотелось попасть в старый скит к старшим партийным товарищам. Просить о том, чтобы меня взяли на Савватий я не решалась. Думаю, что за меня попросила Сима.

Когда список, распределяющий людей, был составлен, старосты ушли с ним в административный корпус, а мы обступили наших старших товарищей, стараясь узнать свою судьбу. Меня, Симу, Примака, Александру Ипполитовну, Тавровского и Волка-Штоцкого брали в Савватьевский скит. Студенецкий и Никола Замятин с группой молодежи направлялись на Анзерку. Группа студенческой молодежи, заявившая себя б/п, вывозилась на Кондостров. С ней ехала Тася Попова. Потрясло меня и всю студенческую молодежь то, что Вова Коневский не вошел ни в одну группу, он оставался в кремле на общем режиме.

Вова Коневский — на общем режиме

З/к, находившиеся в кремле, были разношерстны по своему составу и не имели никакой внутренней организации. Они жили по принципу «каждый за себя». Тюремный паек на общем режиме был хуже пайка политзаключенных. Лучше обеспеченные помощью из дома или умеющие добиться расположения администрации — жили лучше; другие — голодали, заболевали цингой, умирали. Все они работали на разных работах. Если в скитах произвол администрации наталкивался на сопротивление коллектива, то в кремле ничего подобного не было. Голодный и без того тюремный паек часто разворовывался. Воровали все — сверху донизу: завхозы, повара, раздатчики пищи. Воровали и з/к друг у друга. Кремлевский режим был ужасен. Нам молодым, он казался, во всяком случае, страшным. Нас

ошеломило решение старост оставить Вову в кремле. Будь еще он здоров! Но он был болен. Сухорукий, он даже одевался с трудом. Во время следствия Вова предал своих товарищей, но ведь он молод, разве он не может исправиться? Надо пытаться выправить его, а не выбрасывать из коллектива. Не толкать по наклонной плоскости.

Вова, очень расстроенный решением старост, держался мужественно. Вся молодежь окружила его теперь теплотой и вниманием. Даже те, кто в свое время бойкотировали его, выражали свое участие, обещали добиваться его приема в скиты впоследствии. Молодежь подчинилась решению старших товарищей, но согласна с этим решением не была, и, чем могла, старалась смягчить удар, нанесенный Коневскому. Все мы знали — сейчас мы покинем кремль, уйдем в скиты, а Коневского переведут в бараки на общий режим. Я горячо спорила по этому вопросу с Иваном Юлиановичем Примаком. Меня поразила жестокость этого обычно мягкого и чуткого, даже нежного в отношениях с окружающими человека. Мне казалось даже, что его большие серые внимательные глаза стали холоднее и уже под черными нахмуренными бровями.

— У нас нет возможности проявлять чувствительность и сентиментальность, — говорил он. — Если Коневский стоящий парень, он оправится и поймет, что иначе поступить мы не имеем права. Мы не можем рисковать всем коллективом во имя Коневского, коллектив дороже Коневского. Что, если мы его пожалеем, а он, как только наступят трудности, снова предаст? Кто будет в ответе за весь коллектив?

Рассуждения Примака казались мне неубедительными, передо мной стоял живой человек. Закончил спор Примак суровым голосом:

— Я был в худших условиях, чем те, в каких был и будет Коневский, и выжил. Выживет и он, а если сломается, значит, решение относительно него верно. Перед нами нелегкий путь.

Вспоминая о Коневском, я забегу вперед и расскажу о его дальнейшей судьбе. Полгода провел Коневский в кремле. Его состоятельные родители помогали ему переводами и посылками. Но тосковал он очень. Через полгода, под нажимом молодежи, Коневский был принят в скит. Окончив срок тюрьмы, а может быть, и ссылки, Коневский вернулся в Ленинград. Там он встретился с другими, вернувшимися из ссылки, товарищами. В 1935 году вместе с группой других был арестован вновь и Коневский. И снова он выдал всех, больше того, он давал показания о том, что было и чего не было, оговорил товарищей. Рассказала мне об этом Тася Попова, привезенная в Суздальский политизолятор в 1936 году по окончании следствия. Ее, ее мужа, Массовера, и еще ряд товарищей Коневский предал и оговорил. Так утверждала Тася, она была в этом убеждена.

Мне было уже 36 лет. Больше 12 лет отделяло меня от юношеского спора с Примаком, но суровый взгляд его серых глаз я видела так же ясно и теперь. Я будто слышала, как он говорил: «Жестока жизнь, и часто приходится быть жестоким». Милый Иван Юлианович! Как трудно было спорить, наверное, тогда с наивной и прекраснодушной де-

вушкой. Он не убедил ее тогда! Увы! Жизнь потом убедила.

В Савватьевском ските

Сима и Александра Ипполитовна уехали вместе со старостами, и через несколько дней, когда наш этап шел к скиту, я знала, что там есть знакомый и близкий мне человек, но на сердце было тревожно. Прошло следствие, этап, чередовались впечатления. Теперь я водворялась на постоянное местожительство, на три года. Как сложится здесь моя жизнь? Я рвалась навстречу новым товарищам и в то же время стеснялась их. Все они казались мне людьми необыкновенными, несравненно выше меня стоящими, людьми, имеющими целый ряд заслуг перед народом, перед революцией. А я? Кроме желания и стремления отдать свои силы на завоевание счастья народного, у меня ничего не было, я считала себя не вправе даже быть членом партии эсеров. В тюремной запертой камере люди быстро сживаются, сама жизнь толкает их друг к другу. Иначе в большом Савватьевском коллективе. Здесь люди уже сжились, разбились на группы, связанные дружбой, симпатией, приязнью.

Почти год прожила я в Савватьевском скиту, более или менее близко узнала товарищей по партии. Что же касается з/к других фракций, то многих я едва знала в лицо, или же по фамилии. Я чувствовала, что товарищи ко мне присматриваются, как бы прощупывают меня. Это не было мне неприятно. Но многое вокруг казалось непонятным для меня. Я не могла понять розни отчуждения между фракцией эсеров и фракцией с.-д. Почему в ските, не-

смотря на трудности, люди расселены по камерам, исходя из их партийной принадлежности? Много надо было узнать и понять.

А пока я шла этапной группой от кремля к Савватию. Дорога шла лесом. Кое-где огибала она озера, цепью смыкающиеся, вырытые когда-то ледником. Был конец августа. Лес жил непотревоженной жизнью. Ни звери, ни птицы не боялись людей. Монахи не занимались охотой. Богомольцы, приезжавшие в обитель, тоже. Другого населения на Соловках не было.

С возникновением лагеря на острове появились новые люди, но положение зверей и птиц не изменилось. Охота осталась запрещенной. Часто приходилось нам слышать поучения командиров надзирателям, упражнявшимся на плацу перед нашими окнами:

— Патроны беречь. Ни одного выстрела, иначе, как по з/к.

То и дело через дорогу перебегали зайцы. Усаживались на обочину дороги и, навострив уши, смотрели на проходящих мимо людей.

Пока этап шел, со мной рядом шагал Иваницкий.

Он расспрашивал меня о моем деле, о воле. Я знала, что ему я могу все рассказать. И всех, кого я знала, о ком слышала, знал и он. Он же объяснил мне, почему у эсеров нет ЦК, а только ЦБ. Когда эсеровский ЦК был арестован, созвать съезд партии не было возможности. ЦК заменило, избранное собравшейся группой, Центральное Бюро. Иваницкий сказал мне, что с двумя членами ЦБ перво-

го созыва я познакомлюсь в Савватии. Он не назвал мне их фамилии. Позже я узнала, что одним из них был он, вторым был Гельфготт, о котором я много слышала от Симы. Иваницкий много рассказывал мне о Соловках, о прежней жизни монахов и богомольцев на острове.

Когда заключенных перевозили из Петроминска, монастырь только ликвидировался. Заключенные постоянно наталкивались на брошенные кресты и иконы, монастырскую утварь. Жили монахи на Соловках сыто, но до смешного примитивно. Был, например, у них свечной заводик. И сейчас еще старичок-монах, представляющий этот свечной заводик, одиноко живет в своей келье. Он топит воск и каплет им на скрученный фитиль нити. Век свой прожил этот старичок на Соловках. Иваницкий его видел, беседовал с ним. Многое он рассказал Иваницкому о заточении в монастыре в былые годы.

(Здесь пропущено несколько строк. — Ред.)

Наш переход — этап к Савватию — ничем не напоминал этап. Конвоиры шли спокойно, они не равняли строй, не торопили. Мы шли без окриков, без соблюдения строя. Никто не мог встретиться на этой уединенной дороге. Некуда было бежать арестантам.

Когда дорога завернула к Савватию и строение скита показалось из-за деревьев, Иваницкий сказал мне:

— Перед вами всеми, прибывшими с воли, стоит большая задача. Наша жизнь здесь застоялась, вы увидите много болезненных явлений в жизни коллектива. Тяжело пережили мы 19 декабря, тяжело живем дальше. Вы — свежие люди и вы должны внести освежающую струю. Помочь изжить прошлое.

По плечу ли была задача нашей маленькой горсточке, вливающейся в коллектив?

Тепло и радостно встретили заключенные вновь прибывших. Все гулявшие во дворе товарищи окружили нас, как только мы вошли за ограду колючей проволоки. Иваницкий попросил кого-то проводить меня в женскую эсеровскую камеру. С двумя спутниками, несшими мои вещи, я вошла в большой корпус и поднялась на второй этаж. Монастырская гостиница, отведенная теперь под заключенных, ничем не походила на тюрьму. От узкого полутемного коридора, идущего в обе стороны от лестничной площадки, налево и направо выходили двери номеров-камер.

Мы вошли в женскую эсеровскую камеру. Светлая, чистая, свежепобеленная, с двумя большими, настежь открытыми, окнами, выходящими на озеро, камера была полна света и воздуха. Конечно, никаких решеток. Посреди камеры стоял небольшой, покрытый белой скатертью, стол. Вдоль стен четыре топчана, аккуратно застеленные постели. У каждой по маленькому столику. На них — книги, тетради, чернильница. В углу, у двери, над табуретом с тазом, висел умывальник. У одного из столиков, забравшись на топчан с ногами, сидела Сима и чи-

тала книгу. Такая, какой я привыкла ее видеть. В коричневом платье, с волосами, перевязанными большим черным бантом. Радостно поднялась она мне навстречу.

— Наконец-то и вы с нами! Знакомьтесь скорее.

В камере, кроме Симы, жили еще три заключенные — Клавдия Порфирьевна Седых, худощавая, очень серьезная с виду, тридцати двух лет, была она сибирячкой, по профессии учительницей. На Соловках, в школе заключенных, она преподавала русский язык и литературу. Свой предмет она очень любила и вела его так, что многие заключенные, образованные и знающие люди, шли все на отдельные занятия, просто, чтобы послушать Клавдию Порфирьевну. Прасковья Григорьевна Муралова — 29 лет. Не успела закончить высшую школу. Продолжала свои занятия, изучала высшую математику. Весь столик ее был завален толстенными книгами. Она занималась не одна. Еще двое товарищей вместе с ней грызли «корень науки», как шутила Клавдия Порфирьевна. Третьей затворницы не было в камере, но вернулась она тут же. Это была Александра Ипполитовна. За плечами ее стоял завхоз. Он пришел позаботиться о моем устройстве. Как бы извиняясь, он говорил:

— Придется потесниться, у нас эсеровских камер всего две. Со временем перегруппируем мужчин, а пока — в тесноте, да не в обиде.

В камеру двое товарищей внесли топчан. Передвинули, сдвинули стоявшие. Сокамерницы огорчились, что для меня не удавалось поставить столик — еле втиснулась маленькая тумбочка.

— Вы будете заниматься за моим столом, — сказала Сима, — или за общим, как захотите.

Я очень устала за день, полный новых впечатлений. Больше всего мне хотелось остаться одной. Тяжело начинать жизнь на глазах у посторонних людей. Хоть как-нибудь уединиться можно было только на своей койке. И, постелив постель, я легла, укрылась, повернулась лицом к стене. В конце концов, я уснула.

Разбудил меня утром крик в коридоре: «Первый кипяток!» Я поднялась, села на постели. Сима уже не спала. Она лежала, читая.

— Спите еще, — сказала она, — мы встаем, когда раздается третий кипяток. Действительно, по крику «Второй кипяток!» женщины начали вставать, а когда закричали «Третий!», дежурная по камере спустилась на кухню и принесла два чайника — один с кипятком, второй, маленький, с заваркой. Она накрыла стол скатеркой, поставила чайные чашки с блюдцами, положила чайные ложечки, хлеб, аккуратно нарезанный ломтиками, сахар-песок в вазочке. Мы собирались сесть за стол, когда в дверь постучали. В камеру зашел завхоз с большим деревянным подносом. На подносе были разложены порции сливочного масла. Одну из них, размером в две спичечные коробочки, он положил на наш столик. Я не могла скрыть своего удивления ни сервировкой стола, ни самим завтраком. Товарки мне объяснили:

— Мы хотим жить по-человечески, а питание наше складывается из тюремного пайка, продуктов, присылаемых Красным Крестом и того, что присылают родные.

В ските была общая каптерка. Из находящихся в ней продуктов наши повара готовили обеды и ужины. Продукты из посылок родных поступали

во фракционные каптерки. Эсеры сдавали все свои продукты из посылок, все денежные переводы. Коммуна была полная. Так же поступали «леваки» и «анархи». Социал-демократы были против так жестоко осуществляемой коммуны-уравниловки. Лакомства, предметы роскоши, то, чем родные хотели побаловать, оставалось у заключенного в его полном распоряжении. Все книги сдавались по списку в общую библиотеку. При выезде владельцу по желанию книги возвращались. Библиотекарь выдавал книги читателям. Такая организация жизни давала возможность улучшить положение заключенных, создать особое повышенное питание для слабых и больных. Из фракционных каптерок им выдавались дополнительные продукты.

Эсэры и эсдэки

В жизнь коллектива я входила постепенно, с трудностями. Не все сразу стало мне понятно в сложившемся строе жизни. В первые же дни меня зазвал в свою камеру Богданов. Мне было понятно — все старые сидельцы хотели говорить с человеком, недавно пришедшем с воли. Богданов жил в маленькой уютной камере, которая сразу поразила меня. Она походила скорей на рабочий кабинет, а не на тюремную камеру. И письменный стол, и кресла, и побелена по-особому. Богданов расспрашивал меня о воле, о студенческой жизни. На стол он поставил коробочку шоколадных конфет. Я отказалась от сластей.

— Не любите? Или по принципиальным соображениям? — спросил меня Богданов.

— По принципиальным, — смеясь ответила я. — Я думаю конфет хочется не только тем, кто получает их в посылках.

Богданов стал серьезнее.

— Мы простые люди, а не святые. Допустим, от себя мы еще можем потребовать. Но вправе ли мы требовать от наших родных?! Они, может быть, отказывая себе во всем, шлют брату, мужу или сыну, что могут, чтобы побаловать его, скрасить его участь. Почему мы должны лишать человека маленькой радости? Да и станут ли родные слать эти мелочи, если узнают, что они не попадут адресату?

— Зачем же их уведомлять об этом, — перебила я Богданова.

— Ну, мы не святые. Мы не можем ущемлять своих родных, принимать их жертвы для соседа.

Я опять перебила Богданова:

— А для себя?

— Я буду просить родных высылать продукты, деньги и сдавать их в каптерку. Так должны делать мы все, улучшая питание свое и своих товарищей. Но балуют родные, меня, именно меня. А я побалую того, кого приятно побаловать мне. В данном случае, вас. Каждый живет по-своему.

Я взяла конфету. Мне было неудобно не взять. Не помню всего, о чем мы говорили с Богдановым. Пробыла я у него в камере недолго. Богданов мне не нравился своим авторитетным тоном, своей самоуверенностью. Однако, должна сознаться, внимание, проявленное ко мне старостой социал-демократов, мне льстило.

Вечером, гуляя по коридору с Иваном Юлиановичем, я спросила:

— Почему у Богданова при общей тесноте отдельная камера?

— Каждому старосте коллектива выделяется одиночка. Она ему необходима для бесед с товарищами и для отдыха. Поймите, какую нервную работу он ведет. Ведь он отвечает за жизнь коллектива.

— Почему же у Иваницкого нет отдельной комнаты?— спросила я.

Иван Юлианович рассмеялся.

— Потому, что он — Иваницкий, а не Богданов. Ему выделена одиночка, но он, зная о тесноте в коллективе, позвал в свою камеру товарища.

— А почему у Богданова кабинет, а у Иваницкого койка под суконным одеялом?

— Я не имел чести быть у Богданова, — резко сказал Примак и сразу мягче добавил, — вероятно, социал-демократы находят нужным, чтобы их староста так жил. Вы замечаете, — уже посмеивался Примак, — что они уже и вас уважают, раз их староста пригласил вас к себе.

Этого я не заметила, но я заметила другое. Многие мои товарищи по фракции обратили внимание на то, что я была у Богданова. Я не понимала, в чем дело, а спросить прямо я не умела. Я чувствовала, что между фракцией эсеров и с.-д. какая-то отчужденность. Отдельные члены из разных фракций поддерживали между собой хорошие товарищеские отношения, но на них большинство косилось. В то же время я чувствовала в коллективе какую-то нервозность, болезненную настороженность. Недавно пришедшая в тюрьму с воли, я не могла понять повседневную тюремную жизнь. Меня поражало то, что во время прогулок многие заключенные ходят в одиночку по тюремному дворику, вы-

шагивая круг за кругом. Я не могла еще понять тяги к одиночеству. Я стала изебгать встреч с Богдановым. Мне хотелось уяснить, почему мои товарищи не одобряют общения с ним. Помогла мне Александра Ипполитовна.

— Очень непросто живем мы в тюрьме. За годы сидки наслоились груды переживаний. Они размежевали коллектив. Эсеры и социал-демократы не просто разные партии. Люди, примкнувшие к этим партиям, резко отличаются друг от друга. Они разные по складу мышления, по взглядам, по образу жизни. Мы говорим «типичный эсер» или «типичный социал-демократ». В тюрьме эти различия особенно выпирают наружу. Сравните Иваницкого и Богданова. В тюрьме эти разные люди вынуждены жить рядом. Мало того, они вынуждены рядом противостоять администрации тюрьмы. Линия поведения в тюрьме у социалистических фракций разная. Вы знаете, что 19 декабря среди убитых не оказалось ни одного социал-демократа? И это не случайность, социал-демократы были на прогулке во дворе только потому, что все произошло до шести часов вечера. После шести их не было бы. Богданов — человек очень крупный. Никто не умаляет его достоинств. Возможно, товарищи опасаются его влияния на вас. Весь наш коллектив разбит сейчас на две группы — сторонники активной борьбы за режим и сторонники пассивного сопротивления. Здесь каждый человек на счету. Многие насторожились — с кем будете вы. Вы заметили, наверное, что Сима демонстративно дружит с социал-демократами. Многие ее за это осуждают. Я не осуждаю. Я просто не понимаю, как и зачем сохраняет она эту близость в нашей обстановке? А Богданов, конечно,

хочет, чтобы среди эсеров было как можно больше согласных с его тюремной тактикой.

Очевидно, в моих письмах к отцу проскользнуло достаточно намеков на жизнь в Савватии. Папа удивленно спрашивал меня в письме: «Неужели в тюрьме вы делитесь на группы?» В словах отца мне слышалась укоризна.

Чем дольше я жила в Савватии, тем больше убеждалась, что так жить дальше коллектив не может. Часто и подолгу о жизни коллектива говорила я с Примаком, с которым очень подружилась. В Савватьевский скит я попала в начале сентября. Проходила осень. Близилась зима. Близилось закрытие навигации. В числе заключенных было несколько человек тяжелобольных. И прошлую зиму коллектив перенес тяжело. Появилась цинга. Особенно быстро поддались ей сибиряки и дальневосточники. Им тяжело давался сырой соловецкий климат. У них распухали ноги, товарищи на руках выносили их на воздух. С прошлого года здоровье людей ухудшилось. Завхозы изыскивали все возможности подкармливать больных за счет здоровых. Это приводило к тому, что больные продолжали жить, а здоровье здоровых изнурялось и число больных росло. Ни свежего мяса, ни овощей, ни молока на Соловках не было. Картошка считалась деликатесом. Когда она входила в меню, десять-двенадцать человек чистили ее часами. Клубни едва превышали голубиные яички, а готовили обед на 250 с лишним человек. С медикаментами тоже было из рук вон плохо. Без конца подавались начальству заявления о вывозе больных на материк. Ответа не по-

ступало. Особенно тяжело было одной заключенной с больным сердцем. Кронид-Белкин, заключенный врач, опасался за ее жизнь. Днями и ночами по очереди дежурили мы у ее койки. Неделями жила она на камфоре, а запас камфоры подходил к концу.

Тревожило заключенных и новое наступление администрации на режим. О сокращении прогулок речи не поднимали, но об обязательном принудительном труде для политзаключенных Эйхманс поднимал разговоры со старостами. Вопрос о новой инструкции, заглохший после 19 декабря, поднимался вновь. Вновь предполагалось завинчивание режима с закрытием навигации. Все больше появлялось сторонников предложения добиться от администрации, не дожидаясь прекращения навигации, сохранения политрежима на Соловках или же вывоза всех политзаключенных с Соловков.

Все фракции скита были едины в вопросе об отстаивании политрежима, но методы борьбы за режим были разные. Социал-демократы заняли особую позицию. Были и в эсеровской партии сторонники их позиции, но их было ничтожное меньшинство. Все считали необходимым довести до сведения Москвы, пока есть еще связь, что политзаключенные Соловецких островов не примут нового режима, что свои права они будут отстаивать до конца. Все, кроме социал-демократов, считали, что заявление свое политзаключенные должны подкрепить определенным разъяснением слов «до конца», то есть указать, что в случае неудовлетворения их требований, они начнут голодовку.

Примак был по темпераменту активным, решительным, упорным. Он стоял среди тех, кто считал, что мириться с завинчиванием режима нельзя. Он

рассказывал мне о борьбе, которую вели заключенные за режим в царских тюрьмах. Он говорил, что сдача позиций, уступки заключенных под нажимом по мелким вопросам, ведет к сдаче всех позиций, к разложению, ослабляет сопротивляемость коллектива. Но выговорить слово «голодовка» ему было трудно. Примак был тяжело болен. Его включили в список тех больных товарищей, о вывозе которых на материк настаивали заключенные. Он знал, что в случае голодовки, коллектив запретит ему, как больному, принимать в ней участие. И все же он не считал возможным подачу заявления с требованиями без указания, чем они подкрепляются.

— Если требования действительно жизненно важны для нас, мы боремся за них, а пустые, ничем не подкрепленные декларации, ни к чему не ведут. За режимные требования здесь, на Соловках, уже пролилась кровь. Товарищи не могут забыть утрат. Уступить — для них означает оскорбить память погибших 19 декабря.

Последнее замечание Примака звучало для меня особенно убедительно. Весь коллектив был болен. Он не пережил декабрьский расстрел, он умолк, сжался в комок, но внутри него все дрожало, было все напряжено. Я знала, что на Соловках каждая мелкая стычка с администрацией может привести к катастрофе. Коллективу нужна разрядка. Ему нужно сознание, что та кровь, которая пролилась, пролилась недаром.

Я мало ознакомилась с людьми окружавшими меня. Кое-кого я знала ближе, но огромное большинство было мне вовсе незнакомо. Весть о том, что психически заболел Н., конечно, меня очень взволновала. Его я не знала, но видела. Сперва даже

никто не говорил о психическом заболевании. Говорили о повышенном нервном состоянии. Принимали всяческие меры к его успокоению. Выделили больному одиночку, окружили товарищеской заботой и вниманием. Но подавленное состояние сменилось возбужденным. Мания, охватившая Н., состояла в том, что им открыта тайна построения социализма на всем земном шаре. Что социализм будет осуществлен без борьбы и усилий, путем взаимодействия Земли и Луны. Сперва он только пытался всем растолковать свое открытие, затем стал добиваться осуществления его. Он бесновался, крушил все, что попадалось под руки. Откуда-то взялась непомерная сила. Самые сильные не могли удержать его. Наконец, из Москвы пришло разрешение на вывоз его на материк в клинику для душевнобольных. Как взять его? Как добиться спокойного отъезда? Картина вывоза Н., рассказанная нами товарищам, вставала перед глазами.

Когда из кремля за Н. приехали конвоиры, старосты сообщили ему, что за ним из Москвы приехали от Сталина. Сталин вызывает его на доклад, чтобы ознакомиться с его теорией. Н. обсудил со старостами вызов. Но проявил недоверие. Он заявил, что рискнет доверить тайну ЦК коммунистической партии, но так как его могут убить по дороге, он хочет обнародовать ее на месте. Он потребовал перед отъездом созыва общего собрания скита, чтобы сделать сообщение.

Для успокоения Н. было устроено общее собрание. На собрании я увидела его впервые. Высокий тонкий юноша с обыкновенным, по-моему, совершенно нормальным лицом вышел к собравшимся. Совершенно спокойно начал он свое сообщение. Он

говорил ясно и четко, но постепенно в произносимых словах не стало никакого смысла. Более жуткой картины я не видела. Не выдержав, я ушла в свою камеру. Мне просто было страшно. Прямо с собрания Н. увезли от нас.

В эти тревожные дни неожиданно вывезли на материк и Примака. Состояние его здоровья было очень серьезным. Всего несколько минут дали ему на сборы. Долго ли собраться арестанту. Иван Юлианович простился с коллективом. Он зазвал меня в свою камеру. На минуту мы остались вдвоем.

— Мне грустно расставаться с коллективом и с вами. Увидимся ли мы, я не знаю, но думать и помнить о вас я буду.

Он обнял меня. Мы крепко поцеловали друг друга. Разлука с Иваном Юлиановичем была моей первой тяжелой разлукой. С ним мне было легко говорить. Он разъяснил мне многое.

Первые месяцы моего пребывания на Савватии спокойной, нормальной жизни почти не было. На собрании, на прогулке, в камере, в коридоре — все толковали об одном: о борьбе за режим. В том, что борьбу вести придется, никто не сомневался. Спорили о том, как ее проводить. Социал-демократы во главе с Богдановым приводили всевозможные доводы против голодовки. Они утверждали, что массовые голодовки, в которых принимают участие сотни заключенных, обречены на неудачу. Что в условиях Соловков, где заключенные изолированы по трем скитам, она становится невозможной. Ведь даже предварительный сговор со скитами, наталкивается на бесконечные трудности. Во время же голодовки связь оборвется совсем. С этими доводами соглашались все, но другого выхода не находили.

Я впервые сталкивалась с тюремной борьбой за режим. Сможет ли коллектив выжить в условиях завинченного режима? Вокруг себя я видела стойких идейных людей, но физически они были измучены, ослаблены годами заключения. И им войти в голодовку?

Что голодовка, раз начавшись, окажется длительной, не сомневался никто. Коллектив, каким я его застала, казался мне обреченным на борьбу. И чем раньше войдет он в нее, тем больше сэкономит сил, растрачиваемых на подготовку. Этот коллектив не выдержит завинченного режима ни физически, ни психически. Так казалось мне.

Левые эсеры и анархисты уже прекратили всякие переговоры с с.-д., кто-то из них сказал мне:

— Вы верите им, вы думаете, что с.-д. верят в возможность избежать голодовки? Ничего подобного. Они хотят, чтобы голодали за режим мы. Они ищут путей, дающих им возможность не участвовать в общей голодовке. Их обычная тактика... (Пропуск. — Ред.)... бороться за режим нашими руками. Они будут писать заявления, протесты... на это они молодцы. А голодать будем мы с вами.

Я возмущенно запротестовала.

— Как было в прошлом году, вы знаете? — продолжал мой собеседник. — Протестовали они, возмущались, кричали о том, что не примут новый режим. Богданов кричал громче всех. Но 19 декабря, когда во дворе убивали наших товарищей, он у дверей корпуса ловил своих и не выпускал их за дверь. Берег свои меньшевистские кадры. А в переговорах с Эйхмансом ораторствовал: «Вы хотите еще крови, будет и еще кровь!» Иваницкий так легко не аргументировал кровью своих товарищей.

И теперь они хотят пожинать плоды, купленные ценой наших жертв.

Многие в коллективе думали так же. Однажды Саша Яковлев, Егор Кондратенко и Соломон Штерн, три заядлых эсера, залучили меня в свою камеру. Все трое были рабочими людьми без особого образования. Саша, многие называли его «святым», молодой, в ореоле каштановых кудрей, с какими-то светящимися глазами, казалось, сошедший с одного из нестеровских полотен, бил меня этическими категориями. Егорушка, значительно старше, рабочий от станка, неказистый, ничего привлекательного по внешности не представлявший, брал иронией, скепсисом. Сема Штерн, более эрудированный, чем его товарищи, раззадоривая, поддерживал их отдельными репликами.

Запомнился мне из всего спора о с.-д. всего один Сашин аргумент.

— В нашей фракции тоже есть противники голодовки. Ваша Сима, или Гольд, или Иванов... Но они первыми начнут голодовку и последними ее снимут. Пусть бы и с.-д. так: спорили до момента решения, а потом присоединились бы к большинству.

— Нам бы отказаться сейчас от голодовки... Что бы тогда сделали с.-д.?

— Может быть с.-д. в процессе голодовки присоединятся к нам, — ответила я на слова Кондратенко. Но мои собеседники только засмеялись в ответ.

Во всех трех скитах, всеми фракциями было принято решение — отправить в Москву заявление еще до закрытия навигации. В нем было требование либо вывезти всех политзаключенных с Соловков в места заключения, расположенные на материке, либо сохранить существующий в настоящее время

режим. Фракции с.-р., левых с.-р. и анархистов подкрепляли свое требование голодовкой в случае неполучения положительного ответа к указанному в заявлении числу.

Для всех было ясно, что в случае возникновения голодовки, всякая связь между Савватием, Муксолмой и Анзеркой будет прервана. Поэтому все переговоры во время голодовки и решение о ее снятии доверялись голодающим Савватьевского скита. Все сговоры в скитах и между скитами и теперь велись с большими трудностями, конспиративно. Заявления всех скитов и всех фракций были посланы в один день и час. Для ответа администрации предоставлялся двухнедельный срок. После подачи заявления нервная напряженность в лагере спала, спорить и дебатировать было не о чем.

Очень тяжелым для меня и моих товарищей был вопрос о переписке с родными. Конечно, с началом голодовки переписка оборвется. Родные знали, когда кончается навигация. Отсутствие писем в неположенное время будет волновать их. Но это и должно стать свидетельством тому, что на Соловках неспокойно. Я думала о папе. Всего несколько писем успела послать я с Соловков. Что будут думать, что будут переживать наши родные, не получая вестей? Мы тоже не будем получать писем. Но мы-то будем знать причину молчания...

Переписка с родными всегда была трудной для нас. Что можно писать из тюрьмы? И как можно писать, меня при моем прибытии на Соловки старшие товарищи инструктировали: письма, рисующие тяжелые и мрачные стороны, не пропускаются цензурой. Изображать нашу жизнь в оптимистических розовых тонах, чтобы успокоить родных, не реко-

мендуется. Такие письма или отрывки из писем выхватываются цензурой и публикуются в нашей и зарубежной печати, как хорошо содержатся заключенные в Советском Союзе.

Два наших товарища, желая ободрить родных, писали им бодрые письма, прикрашивая светлую сторону нашей жизни. В одном из номеров, кажется «Роте фане», получаемой нами, в подвале, посвященном жизни заключенных на Соловках, они прочитали свои письма. Их письма сопровождали измышления автора о рае на Соловках.

Трудно писать из тюрьмы, зная, что каждая твоя мысль, каждое твое настроение взвешивается на весах цензуры, приобщается к твоему делу, используется органами ГПУ. Знали мы об использовании наших писем, наших личных взаимоотношений точно. Для утяжеления судьбы заключенных ГПУ всегда использовало их личные переживания. Например, зная, что Таня Ланде разошлась со своим мужем Моисеем и полюбила Шестакова, ГПУ направляло их троих в одни и те же места заключения. Напротив, оно разлучало мужей и жен, даже в ссылках.

Голодовка

За день до указанного заключенными срока Эйхманс приехал в лагерь и заявил, что из Москвы получен отрицательный ответ.

Голодовка началась. По трем скитам голодали анархисты, левые с.-р., и с.-р. Только очень серьезно больным и слабым товарищам коллектив запретил принимать участие в голодовке. В Савватии, перед началом голодовки, заключенные произвели

переселение. Все неголодающие были переведены в одно крыло нижнего этажа, где помещалась кухня. По указанию старост, голодающие с первого дня разошлись по камерам и легли на койки. Надо было беречь силы. Не ослаблять себя. Настроение коллектива стало спокойным, уверенным. В победе мы не сомневались.

Меня интересовало чувство, испытываемое голодающими. Особенный, профессиональный интерес к голодающим был у Кронида Белкина. Его интерес был интересом научного порядка. Был он очень слабого здоровья и голодание ему было запрещено коллективом. Как врачу, ему было разрешено администрацией лагеря ежедневно вместе с тюремным фельдшером обходить камеры с голодающими. В Савватии голодало около двухсот человек. Поле для наблюдения было широким. Кронид переживал, что не может голодать вместе с нами, но профессиональный интерес не покидал его. Он вел ежедневные наблюдения и записи. Для нас его ежедневный обход был желанным. Он приносил нам вести о состоянии, настроении товарищей, о жизни всего коллектива. Приносил нам вести и Иваницкий. Он голодал, но все же обходил наши камеры ежедневно.

Голодающие все переносили очень разно. Одни мучительно ощущали голод с первого дня до последнего. Другие почти не ощущали потребности в еде. Голодовка наша не была «сухой«. Воду мы пили. Самым неприятным для всех был привкус во рту, пересыхание языка, губ. Мне говорили, что в камере голодающих всегда спертый неприятный запах. Его сами голодающие обычно не ощущают. Совершенно и абсолютно ясное мышление мы сохранили во все дни голодовки. Казалось даже, что мозг работает четче, чем обычно. Мы читали, занимались,

Прасковья Григорьевна упорно решала задачи и выводила какие-то формулы.

Мы, женщины, целыми днями лежали на койках. Но мужчины, особенно молодежь, не выносили этого постановления старостата. Они бродили по камерам, и у нас нередко бывали гости. Особенно часто заглядывали Степан Гнедов, Вася Филиппов и Шура Федодеев. Крепкие молодые здоровые ребята не могли выдержать лежачего режима, а камеры наши находились по соседству.

Часто заходил проведать Симу Гольд. Это был странный и своеобразный человек. И в манере держать себя, и в манере одеваться и по образу мыслей. Ничего типично эсеровского в нем не было. Худой, высокий, он держался несгибаемо, и лицо его было неподвижное, как бы застывшее. Одевался он всегда по-европейски, в пиджачную, тюрьмой потертую пару, привлекавшую к нему внимание на всех этапах. Был он мало общителен, его не очень любили, но очень уважали. Был он человеком для круга избранных, умным, образованным. Знал языки, был математиком, философом, социологом и прекрасным преферансистом и шахматистом. Он приходил к нам и садился на стул возле Симиной койки. Ровным голосом говорил о вещах, не имеющих никакого отношения к нашей жизни и интересам сегодняшнего дня.

Оба они, и Сима, и Гольд, были противниками голодовки. Оба не верили в победу и не допускали мысли о поражении. Говорили они об астрономических явлениях, о форме литературного творчества, об архитектурных стилях разных эпох. Казалось, что они любят друг друга. Но за Гольдом шла слава старого холостяка и без конца у нас повторялась

его фраза — «жениться может только человек, больной на голову».

Степа, Шура и Вася были совсем другими. Они могли часами просиживать в нашей камере и говорить о голодовке, вернее, об ее окончании. Все трое были поварами у нас. Один перед другим выдумывали они, какими обедами будут кормить нас после голодовки, после победы. Эти беседы кончались обычно тем, что Клавдия Порфирьевна, которая мучительно хотела есть с начала голодовки и до ее конца, выгоняла их из камеры. Шура Федодеев и Вася Филиппов часто вели нескончаемые разговоры по социологическим и программным вопросам. Вася был сибиряком, сыном крестьянина. Был он широкоплеч и коренаст. Он не получил никакого систематического образования и упорно наверстывал этот пробел в тюрьме. Больше всего его интересовали экономические вопросы, и он усидчиво штудировал «Капитал» Маркса. Деревенский парень, не видевший ни большого города, ни театра, ни картинной галереи, ни трамвая, он вырос и культурно и умственно в тюрьме среди книг и товарищей. В шутливой беседе мечтали мы с ним часто, как вместе поедем смотреть антоновские яблоки. Наши мечты снова прерывала Клавдия Порфирьевна:

— Бросьте, — говорила она, — у меня слюнки текут.

Шура, сверстник Васи, был коренным москвичом. Отец его был тренером на бегах, и Шура с детства увлекался скачками, беговыми лошадьми, тренерами — всем тем, о чем я не имела ни малейшего представления. В 1917 году он окончил гимназию и собирался поступить на юридический факультет. Но жизнь столкнула его с одним социалистом-революцио-

ционером. Вместо юридического факультета дальнейшее образование Шура получал в тюрьмах и ссылках. Он был арестован в 1919 году и сослан в Архангельск. Недолго поработав там на погрузках пароходов, он бежал. Некоторое время он жил и работал на нелегальном положении. Женился на своей товарке и эсерке. Ждал рождения сына. В 1922 году был снова арестован и отправлен в Петроминский лагерь. Больше всего его интересовали вопросы социологии. Занимался он упорно и много. В коллективе, из молодежи, считался одним из самых талантливых. Он принимал участие во всех дискуссиях и сам выступал с докладами. Обычно молчаливый и застенчивый, он мог часами говорить на интересующие его темы. Он вечно сражался с Васей.

— Все наши ударились в экономику. Маркса штудируют. С.-д., те молодцы, они своих теоретиков на зубок знают. А ты?.. Знаешь ты Лаврова, Герцена, Чернышевского?

— Я должен знать обоснования наших противников, — защищался Вася.

Но Шура не сдавался.

— Не эти вопросы сейчас животрепещущие. Нам надо свою программу пересматривать и обосновывать.

В течение всей голодовки он готовился к очередному докладу. Вернее, содокладу. Шестаков должен был делать доклад о демократии. Шура стоял на более левых позициях, чем Шестаков. В своих установках он ближе других был к левым эсерам. Он считал, что настало время ставить вопрос об объединении всех эсеров на новых позициях, позициях конструктивного социализма.

Степа теорией не занимался. Он был человеком действия, душевным, отзывчивым товарищем, всегда

приходившим всем на помощь. Голодать ему было труднее, чем многим другим. Он не любил лежать с книгой. Во время голодовки, вопреки указаниям старостата и Кронида, целыми днями бродил он по камерам голодающих. Приход его всегда радовал. Он разносил вести о самочувствии людей.

Первую неделю заключенные голодали спокойно. На 8-ой день как-то сразу сдал Волк-Штоцкий. Он был болен туберкулезом, но отказался от освобождения от голодовки, на котором настаивал старостат. Плохо стало с Таней Ланде и Шестаковым. У всех трех начала подниматься температура. В нашей камере очень ослабела Муралова. Слабость распространялась среди голодающих быстро. Люди все больше дремали или спали, поднимаясь и садясь на койках — испытывали головокружение.

На тринадцатый день голодовки мы узнали, что среди левых эсеров и анархистов появились ликвидаторские настроения. Возмущал нас выдвинутый ими аргумент. Они утверждали, что среди эсеров ослабели некоторые товарищи, им самим неудобно ставить вопрос о снятии голодовки, потому его должны поставить «левые» и анархисты. Им говорили, быть может, в Анзерке или Муксолме уже есть жертвы голодовки. Ведь договаривались мы голодать до конца. В ответ на предложение о снятии голодовки, в связи с тем, что она грозит гибелью слабейшим товарищам, группа эсеров, в которую вошли и Вася, и Шура, и Степа, пришли к старостам со следующим заявлением: «Голодовку не прекращать ни в коем случае. Но, считая невозможным ставить под удар слабейших товарищей, в подтверждение требований заключенных, начиная с 15 дня голодовки, ежедневно один из группы вскры-

вает себе вены и кончает с собой. Остальные продолжают голодать».

Широкие круги голодающих не знали об обсуждении такого предложения. Старостат колебался, может ли он прийти к такой форме голодовки, не уведомив другие скиты. Во всяком случае, до выяснения вопроса он запретил подобные выступления. С этого совещания старост вызвали в комендатуру. Из кремля прибыл Эйхманс.

Администрация прекрасно знала о состоянии здоровья голодающих. Ежедневные обходы совершал Кронид в сопровождении фельдшера. Эйхманс стал убеждать старост снять голодовку. Из разговора у старост сложилось впечатление, что им получены из Москвы какие-то инструкции, какие-то полномочия. И он приехал проверить настроение коллектива.

Вернувшись в корпус, старосты застали всех еще более возбужденными. В уборной пытался повеситься Н. Его успели вовремя снять с петли. Левые эсеры, узнав о попытке самоубийства, решительно заявили о снятии голодовки. Коллектив голодал уже пятнадцатый день. Старостам после разговора с Эйхмансом казалось, что снимать голодовку нецелесообразно. Но состояние коллектива было таково, что они решили провести референдум.

Иваницкий и Гольд прошли по камерам с урной. Закрытой подачей голосов должны были голодающие решить вопрос о голодовке. Жить или умирать — мы понимали, что так стоит вопрос. Но мы понимали и другое — снять голодовку, значит отдаться на милость администрации. Снять голодовку — значит признать свою неспособность бороться за режим и впредь. Все эсеры единогласно высказались за продолжение голодовки. Даже те, кто раньше голосовал против нее. Как, например, Сима и Гольдъ. Но

анархисты и леваки почти единогласно высказались за прекращение голодовки. А это означало ее конец.

Кто-то из товарищей предложил, чтобы наша фракция продолжала голодовку одна. Очевидно, это требование не было продиктовано трезвыми размышлениям. Все мы сжимали кулаки, стискивали в отчаянии руки. Мы знали, что голодовку приходится снимать, и не видели возможности примириться с этим. Особенно остро реагировали слабые, больные. Им казалось, что их физическое состояние определило решение коллектива. Мы боялись, что они наложат на себя руки, за ними напряженно следили.

Спас положение староста с.-д. Богданов. Он взял на себя переговоры с Эйхмансом, потребовав от левых эсеров и анархистов до его беседы ни в какие переговоры с администрацией не вступать. Богданов сообщил администрации скита, что просит срочно вызвать Эйхманса, так как имеет к нему весьма серьезное заявление. На другой же день утром Эйхманс прибыл и вызвал Богданова. Пока Богданов был в административном корпусе, в ските царила мертвая тишина.

Мы пятеро лежали, уткнувшись головами в подушки. Как осужденные ждали мы приговора. Надежды было мало. Много передумала я за эти полтора часа. Одно решение приняла я, казалось, на всю жизнь. Голодать, добиваясь чего-нибудь, можно одной, или когда знаешь других, как самого себя. Групповые голодовки обречены на неудачу.

Первую весть принес Степа. Как сумасшедший, без стука ворвался он в нашу камеру.

— Голодовка выиграна!

Не знаю, поверили мы Степе или нет, но дыхание

у нас перехватило. Все пятеро сели на койках и не могли сказать ни слова. Вслед за Степаном вошли старосты — Иваницкий и Гольд. Прежде всего они накинулись на Степу.

— Марш в камеру! Не будоражить людей: прежде всего организованность и никаких самостоятельных выходок.

Нам они сказали:

— Теперь, товарищи, выдержка и спокойствие. Сегодня в 6 часов вечера мы голодовку снимем. Условия приемлемы. Богданов договорился о них. Голодовка не проиграна, можете нам верить. Подробную информацию вы получите позже, сейчас мы спешим по камерам успокоить всех. Не принимайте сами никакой пищи. Первая еда будет проводиться организованно. Мы теперь поступаем в распоряжение Кронида, он будет ставить коллектив на ноги.

Они ушли. Мы остались одни. «Не проиграна! Но и не выиграна, так надо понимать информацию старосты».

Иваницкий выглядел плохо. Последние дни голодания резко сказались на нем. Примерно через час пришел Шура как посланец от старостата с подробной информацией. Разговор Богданова с Эйхмансом начался с заявления Богданова о том, что голодовку надо кончать, что он не в силах сдержать свою фракцию от присоединения к голодовке, что его товарищи, особенно молодежь, не могут оставаться пассивными, наблюдая гибель голодающих, что сам он считает голодовку нежелательным способом борьбы, но за фракцию с.-д. больше отвечать не может. Во всяком случае, если не завтра, то после первой жертвы, все с.-д. всех скитов к голодовке присоединятся. Богданов сказал, что берет на себя ответственность за начало переговоров об условиях,

на которых убедит товарищей голодовку снять. Эйхманс пошел на переговоры, и были приняты следующие положения:

1. Вывоз политзаключенных с Соловков, в связи с закрытием навигации, в настоящее время произведен быть не может, и до весны о нем говорить невозможно.

2. Режим в целом остается прежним. Никаких принудительных работ зэки проводить не будут, они будут заниматься только заготовкой в лесу дров для отопления своего корпуса, доставкой дров в зону.

Формально голодовка была выиграна. Фактически, мы знали, что она проиграна. И дело было не в заготовке дров... От работы по самообслуживанию зэки никогда не отказывались. Зэки, люди, в большинстве своем физического труда, даже тяготились из-за отсутствия работы. Выход в лес, когда нас посылали за вениками, выход за колючую проволоку — радовал.

Сообщив нам решение старостата, Шура хотел уже уйти из камеры, но Клавдия Порфирьевна спросила:

— Если решили голодовку снять, почему нам не дают есть?

— На Анзерку и Муксолму уже выехали наши представители, два уполномоченных старостатом с.-д. Администрация предоставила им транспорт. По их возвращении мы начнем принимать пищу.

— С.-д. прямо с ног сбились, — шутил уже Шура, — все это время они одни весь корпус отапливали, теперь берутся за приготовление пищи. Две недели дают они нам на поправку. Будут нас поить и кормить. Им дела теперь по горло будет. Первая еда неважная. По распоряжению Кронида — кофе

с молоком и сухарик. А через два часа — манная каша.

Настроение наше несколько поднялось. Клавдия Порфирьевна сказала, что будет спать до первого сухарика. Я перебралась на койку к Симе. Тихонько перешептываясь, мы вместе переживали события. Разговаривая, мы не сразу обратили внимание на странный звук, идущий с койки Александры Ипполитовны. Или плачет она? И чем поможешь? Мы обе знали, что Александра Ипполитовна вошла в голодовку в надежде на вывоз с Соловков. Ей было очень грустно, очень одиноко, очень тяжело на Савватии. Иваницкий был отцом ее первого, умершего ребенка. Постоянные встречи с ним были ей очень тяжелы. Из старых друзей с отъездом Примака у нее никого не было. Александра Ипполитовна не говорила прямо, но мы чувствовали, как она надеется на вывоз с Соловков. С этой надеждой проголодала она все 15 дней. Теперь надежды рухнули.

Звук, который мы слышали, не походил на плач. Какое-то неровное, прерывистое дыхание. Сима окликнула ее. Ответа не было. Я подошла к ее койке, отстранила одеяло. Александра Ипполитовна лежала, вытянувшись, бледная, с широко открытыми, застекляневшими глазами. Зубы ее были оскалены и сжаты.

— Сима! Сима!

На мое восклицание оглянулись все.

— Ей дурно! — крикнула Сима. — Скорее врача!

Я бросилась вон из камеры.

— Никому ни слова, кроме Кронида! — крикнул мне кто-то вслед.

В коридоре не было ни души. Кругом камеры голодающих. Где найти Кронида? «Можно сказать кому-нибудь из с.-д.», — подумала я. Чтобы не

встретить никого из голодавших, я бросилась вниз по лестнице на первый этаж. Тут я сразу натолкнулась на людей...

— Катя, что с вами?

— Ради Бога, скорее Кронида. Шестневской плохо. И никому, кроме него, ни слова.

Молоденький меньшевичок Коля Зингер бросился прочь. Я почувствовала, что у меня самой подкашиваются ноги. Нервное напряжение схлынуло. Наступил упадок сил. Как я бежала вниз по лестнице? Теперь, держась за перила, я еле ползла вверх. Бегом, прыгая через две ступеньки, обогнал меня Кронид.

Когда я поднялась по лестнице и завернула в наш коридор, меня охватил страх. Я не могла зайти в камеру. Лицо Александры Ипполитовны маячило перед моими глазами. Я завернула по коридору и пошла в уборную. Сколько я простояла там, прислонившись к подоконнику, — не помню. Помню, как открылась дверь и вошла Сима.

— Я за вами, — сказала она. — Кронид впрыснул камфору. Ей лучше.

— Откуда вы узнали, что я здесь?

— Догадалась, — отвечала Сима, пожимая мне руку. — Так за руку мы и вернулись в камеру.

По усмотрению Кронида нам дали по стакану кофе с молоком и по сухарику. Это была ошибка. Большинство — я, Сима и другие, выпив кофе, с удовольствием заснули. И не захотели просыпаться и есть принесенную нам ночью манную кашу. Но многие, ослабленные голодовкой, зэки реагировали на кофе иначе. Крепкий кофе не поддержал сердечную деятельность, а нарушил ее. Всю ночь бегал Кронид со шприцем по камерам.

Серьезнее других после голодовки заболел Ива-

ницкий. Нервная нагрузка пятнадцатидневной голодовки и ее печальный конец расстроили его нервную систему. Алексей Алексеевич начал икать. Он икал безостановочно два раза в минуту. Кронид уложил его в кровать, он запретил всем, кроме ухаживающих за Иваницким, входить в камеру. Иваницкого нельзя было оставить одного, и в то же время он не должен был сознавать, что находится под наблюдением. Иваницкий не хотел признать нервную икоту за болезнь и гнал от себя Кронида.

Мы осаждали Кронида вопросами о неслыханной ранее болезни. Он прочитал нам целую лекцию о непроизвольном сокращении пищевода. Мы усвоили из нее только то, что если икание не прекратится в течение нескольких суток, возможен смертельный исход. Коллектив замер. Двое суток икал Алексей Алексеевич в своей камере. Двое суток мы прислушивались к тому, что происходит в его камере. На третьи сутки икание прекратилось так же внезапно, как и появилось. Выздоровление Иваницкого можно считать концом голодовки.

Все вздохнули с облегчением. Прямого урона, прямой потери голодовка не принесла ни одному скиту. Коллектив начал жить, перестраиваться с позиций борьбы на мирные позиции. Иваницкий сложил с себя старостатство. Коллектив принял это, как должное, без слов.

На мирных позициях

Мирную жизнь должен был возглавить иной человек, более гибкий, более уступчивый, сторонник пассивной жизни в тюрьме. Старостой эсеров Савватьевского скита был избран Гольд.

В трудное время принял он старостатство. Он должен был отстаивать перед администрацией интересы зэков, зная, что в своих переговорах с Эйхмансом он должен избегать острых углов, ни на минуту не роняя престижа зэков. И надо сказать, Григорий Львович повел коллектив блестяще. Без позы и демагогии, присущих Богданову, спокойно, твердо, уверенно и выдержанно вывел он коллектив из голодовочного состояния и переключил на мирную спокойную ежедневную жизнь.

В утренние, дообеденные часы зэки занимались по своим камерам. До четырех часов работала скитская библиотека, богатая по количеству и по составу книг. С 4 часов дня до 6 вечера — занятия в школе, программа которых соответствовала старшим классам гимназии. Вечерами шли доклады по различным вопросам. После вечерней поверки шли репетиции нашего оркестра и драмкружка.

Жизнь была для меня так полна, что я не замечала, как уходили дни. Меня никогда не привлекала сцена, не было у меня и артистических способностей, но по настоянию товарищей я вошла в драмкружок, так как не хватало исполнительниц женских ролей. И увлеклась. У нас не было талантливых артистов, зато были талантливые режиссеры, декораторы и музыканты. По культуре выполнения и замыслу наши постановки не уступали московским театрам, по использованию ничтожных средств — они превосходили все, мною виденное. Буквально из ничего создавались костюмы и декорации. Всем этим, конечно, мы должны быть благодарны художникам Косаткину и Энсельду. Оркестр был организован Яшей Рубинштейном. Из чего только ни создавались музыкальные инструменты! Юмористические номера были тонки по содержанию и бле-

стящи по форме. В них была и политическая сатира на скитские темы.

Никогда раньше и никогда позже не встречала я такого богатого людьми коллектива. Коллектива, стоявшего на столь высоком моральном и духовном уровне. Часто мне приходилось слышать от товарищей, что савватьевский коллектив беден силами, и назывались имена Рихтера, Гоца, Веденяпина, Агапова и других, разбросанных по разным тюрьмам и ссылкам. Я верила. Недаром же эти люди были выдвинуты в свое время в ЦК партии. Но те, кого я знала воочию, вызывали во мне преклонение. С кем бы из старых товарищей я ни заговорила, я чувствовала, какую глубокую веру, какую продуманную, прочувствованную, убежденную мысль несут они в себе. До сих пор я счастлива, что встретилась с такими людьми, укрепившими во мне веру в человека. То, чего я ожидала от Соловков, то, что надеялась найти, воплощалось в жизнь.

В те годы все вопросы революции были животрепещущи. Внутри партии они стояли с предельной остротой. Дискутировался на наших собраниях, реже межфракционных, чаще фракционных, каждый программный тезис. Люди, только что вырванные арестом из кипящей революционной борьбы, обреченные на вынужденное бездействие, всеми помыслами своими были по ту сторону решетки. Они переживали, вновь пересматривали прошлое, подвергая его критике, сопоставляя теорию с практикой, вносили поправки в первую и отмечали ошибки во второй.

Внутри эсеровской фракции скита были представлены разные течения. Умеренное возглавлялось наиболее эрудированными людьми. Самое левое течение, ратующее за объединение с левыми эсерами,

больше поддерживалось молодым поколением. Споры и дискуссии открывались по каждому докладу. Каждый доклад делался двумя докладчиками, разделявшими разные точки зрения. Затем разворачивались прения. В этих дискуссиях не было вражды. Вернее, было больше взаимоуважения. На них рос коллектив. Росла и я.

Остро и страстно проходили прения. Люди спорили и говорили о том, чему отдали и продолжали отдавать свою жизнь. Проверяли правильность позиций и дел, во имя которых они прошли каторги и тюрьмы и снова садились за решетки.

Среди коллектива было много старых каторжан: Саша Яковлев, Егор Кондратенко, Фельдман, Абрам Гельтман, потемкинец Филиновский; были люди, присужденные судом к смертной казни: Иваницкий, Юрий Подбельский. Разве я могу перечислить всех? В нашей фракции было больше 60-ти человек.

Ничто я не могу сравнить с впечатлением, которое производило на меня хоровое пение ими революционных песен.

Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в Соловки нас ссылают
Пусть мы все кары пройдем.

Если ж погибнуть придется
В тюрьмах иль шахтах сырых,
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых...

Сейчас, когда я пишу эти строки, я знаю — они прошли весь этот путь и погибли. Погибли во имя своих идеалов, во имя счастья и блага людей.

Рихтер — в 1932 году от голодного тифа в ссылке.

Ховрин — в 1933 году в этапе.

Берг — в 1935 году в ссылке.

Филиновский — в сороковых годах на Колыме.

Самохвалов, левый эсер, — на Колыме.

Погибали в лагерях без права на переписку, погибали под пулями расстреливавших их палачей.

«Вы жертвою пали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу...»

«Не плачьте над трупами павших борцов...»

Я и не плачу.



Не помню всех докладов и дискуссий, проведенных в Савватии. Знакомые темы, наиболее волновавшие тогда, — «Диктатура и демократия», «трудовластие», «Учредительное собрание и власть Советов», «Тактика с.-р. в вопросе о войне в 1917 году», «Аграрный вопрос».

После каждого доклада споры, разгоравшиеся во время прений, продолжались в коридорах, в камерах, на прогулках. Старшие товарищи не всегда являлись для нас авторитетом. Да они и не хотели своим авторитетом подавлять молодежь. Из молодых с докладами выступали: Володя Радин, удивительно честный, чистый и одаренный юноша; Четкин, стоявший на левых позициях; Федодеев, считавший себя «черновцем». Последний упорно искал новых форм конструктивного социализма, выискивая, что удавалось, в учении гильдейских социалистов. Он стремился к объединению расколовшейся в 1917 году партии, доклады его всегда были очень интересны, хотя оратор он был из рук вон слабый. От волнения он не мог говорить, запинался, задыхался, заикался. Писал он очень хорошо, но даже

прочесть свой доклад не мог. Старшие товарищи, даже расходившиеся с ним по ряду существенных вопросов, упрекая его в «левизне», упорно настаивали на его выступлениях.

Отдавая дань наукам, мы отдавали дань и развлечениям. По большей части играли в шахматы и в преферанс. На прогулках возникали иногда неожиданные забавы.

В нашем коллективе были и семейные, которым выделялись одиночки. Было в Савватии трое детишек, двое грудных, родившихся на Соловках, и Вова Дерковский, привезенный вместе с матерью на Соловки. Вове было около шести лет. Зэки очень любили с ним играть. В нашей каптерке завхоз, очень любивший Вову, всегда берег для него сласти. Для него зэки смастерили на прогулочном дворе снежную гору, сделали салазки. Неожиданно для себя строители горки увлеклись катанием сами. Горка разрослась в большую гору. Спуск с нее уходил на самое озеро. Постепенно в катание с горы втянулся весь коллектив. Салазок больших, конечно, не было. Их заменили доски, облитые водой, обледеневшие, перевернутые вверх дном табуретки, даже оставшиеся от монахов старые иконы, против чего возражали отдельные товарищи, видя в этом неуважение к чужому культу. Излюбленным было катание на большой скамье, повернутой вверх ножками. На доску ее, вытянув ноги, садился первый ряд, на плечи к ним залезали любители сильных ощущений. На середине горы неизбежно, не без содействия катящихся, происходила авария. Все летели кувырком. Самым привлекательным при этом было падение. Оно покрывалось дружным смехом падающих, наблюдающих и даже часового с вышки.

Число семейных пар возрастало. Родился ребеночек у Ани Туговой. Соединилась Сима с Гольдом, перейдя от нас в его строительную одиночку.

Самыми оживленными днями были дни получения почты. Изредка поморы на своих лодочках прорывались на остров. Они привозили толстые пачки газет, письма от родных, приносивших то радостные, то печальные вести.

С получением газет доклады прерывались. Все стремились поскорей узнать новости с материка. Организовывалась совместная читка газет. Вслух прочитывались все телеграммы, сообщения ТАСС, наиболее интересные статьи.

Из писем брата и отца я узнала, что поселились они в деревне, в семи верстах от Курска, так как в городе жить брату не разрешили. Никакой работы он найти не мог. Письма были бодрые. Я понимала, так пишут они для меня. Горько и тревожно было за них. Обрадовала вложенная в письмо приписка моих курских друзей. Они уверяли, что мой арест переживается ими тяжелее, чем мной самой. Возможно, что так оно и было. Они обещали постоянно навещать отца и брата и помогать, чем смогут.

Очень тяжела была эта зима для Шуры Федодеева, ставшего моим близким другом. После его ареста у него родился сынок. Жена Шуры тоже была эсеркой. В связи с беременностью и родами она отошла от партийной работы. И все же ее послали в ссылку. В ссылке, далеко в Сибири, ей жилось нелегко. Ее родители стали хлопотать и добились перевода к ним. Шура не одобрял этот перевод, отрыв от ссыльных товарищей. И он оказался прав. Перед натиском родных, перед соблазнами жизни Циля не устояла. Шура стал получать письма о том,

что ей с ребенком нецелесообразно жить так, что все окружающие убеждают ее написать письмо с отказом от общественной деятельности, посвятить жизнь ребенку. Шура в ряде писем старался удержать Цилю от этого шага. Как раз перед нашей голодовкой он послал ей решительное письмо. Он писал ей, что отречение от партии означает отречение и от него. В первом письме, полученном после голодовки, сообщалось о том, что Циля опубликовала в газете письмо с отказом от партии с.-р. Шура не ответил на это письмо. Долго и упорно бегал он по кругу нашего прогулочного двора. Все сочувствовали ему, все понимали его. Люди, давшие в печать письмо с отказом от партии, отрекшиеся от своего прошлого, от всего того, за что мы шли в тюрьмы и ссылки, во имя своих узких личных интересов, осуждались нами.

Я очень хорошо понимала Шуру. Когда-то и я пережила такую же утрату. Но я потеряла друга, а Шура пережил утрату жены и, вероятно, сына.

В те годы было достаточно печатного отречения от своей прошлой деятельности, от своих прошлых убеждений, и человек возвращался из тюрем, из ссылок к жизни.

Мы понимали, что человек отказывается от своих убеждений во имя житейских благ, но путь погони за благами был скользким путем. На каком месте наклонной плоскости может человек поставить точку... Сможет ли устоять перед новым нажимом, раз пойдя на сделку с совестью? Сможет ли кто-нибудь, кроме нас, понять такое отношение к этим людям? В нашей среде для них был создан особый термин, выдававший наше отношение к ним, — «продавашец».

Зима уходила, приближалась весна. За нею промелькнет лето...

В конце 1925 года, в начале 1926 года из нашего коллектива должно было освободиться много зэков. Всех, кто кончал срок до открытия навигации 1926 года, то есть до мая 1926 года, должны были осенью 1925 года вывезти с Соловков на Попов остров, ров, откуда могли освободить людей в срок. Конечно, полного освобождения не наступало. По опыту предыдущих товарищей мы знали, что за тремя годами лагерей или тюрьмы для политзаключенных следуют три года ссылки. Освобождались люди только из-под стражи, но и это было много, страстно желанно.

Группа наших товарищей, уже в эту зиму освобождавшихся, зимовала, чтобы освободиться вовремя, в очень тяжелых условиях на Поповом острове.

Каждый зэк отсчитывает годы, месяцы, дни, оставшиеся до дня освобождения. Почти каждый заводит календарик и сутки за сутками вычеркивает проходящие дни. «Разменять» последний год — событие в жизни зэка.

В январе 1925 года Шура разменял последний, третий, год заключения. В декабре этого года он должен был быть вывезен на Попов остров. Мы очень сдружились и сблизились с Шурой, а близкая разлука была неизбежна. Нам хотелось оставшееся время больше принадлежать друг другу. Мы не думали организовывать семью. Для нас, политических, не существовало перспектив мирной семейной жизни. Мы просто любили друг друга. И хотели положенные нам месяцы пожить рядом.

Чтобы осуществить это, мы должны были старостат просить выделить нам одиночную камеру. Про-

сить об одиночке означало стеснить других товарищей. Это было нам очень тяжело. Вопрос об одиночке решился для нас неожиданно легко. В нашем дворике, рядом со скитской гостиницей, где размещался наш корпус, стояла маленькая деревянная часовенка. Она пустовала. Соломон Штерн, уставший от жизни в больших камерах, предложил Шуре перегородить часовенку на две половины. В одной половине должен был поселиться он с товарищем, в другой — мы с Шурой. Старостат разрешил, и мужчины принялись за работу. В новоселье, день, когда мы переселились в часовенку, Шура с утра до позднего вечера дежурил поваром на кухне. Перенести его и мои вещи помогли товарищи. Весь день у меня «толклись» гости, мы устроили «званый» обед. Шура на нем, конечно, не присутствовал. Но ряд товарищей и я получили положенную нам порцию супа и жареной трески в часовенку.

Уютно жилось в часовенке. Впритык к друг другу изголовьями два топчана, у окна маленький столик, рядом печурка, один табурет на двоих, чемоданы под топчанами. За перегородкой — друзья. От часовенки в двух шагах вход в корпус, прямо к «культу».

Вечерами, не занятыми докладами и собраниями, у нас собирались товарищи, отдыхая в нашей семейной одиночке от жизни общих камер. Дни были заполнены чтением, занятиями, знакомством друг с другом.

Вывоз с Соловков

Ненадолго приютила нас с Шурой часовенка. Весна пришла, снег почти сошел, везде стояли лужи,

подергивавшиеся на ночь корочкой льда. Светлые белые ночи...

В эту ночь мне не спалось. У меня болел зуб. Поганое состояние начинающегося флюса. Шура уже спал, когда мое внимание привлек странный шум за окном, нарушивший обычную тишину острова. Мне чудился шум шагов. Приоткрыв занавесочку, я выглянула в окно. Наш дворик заполнялся идущим из-за проволоки конвоем. Я разбудила Шуру. «Обыск», — решили мы. За все наше пребывание на Савватии ни одного обыска не было. Но чем иным можно было объяснить появление такого количества конвоя?

— Стучи тихонько Штерну, — сказал Шура, а я сожгу в печке, что успею. — Пока не сожгу, дверь не откроем.

Я постучала Соломону в то время, как он постучал нам. И мы договорились, дверь в часовенку до прихода старосты не открывать, свет не зажигать, сжечь все компрометирующее. У меня было три номера рукописного журнала «Сполохи». Их надо было во что бы то ни стало спасти. Но как?! Печь наша пылала, когда в дверь застучали.

— Откройте!

Соломон Ильич ответил, что откроет дверь только в присутствии нашего старосты. К нашему удивлению, конвой согласился ждать. Один надзиратель остался у двери, другой ушел в корпус. Печь уже догорала, и Шура размешивал кочергой золу, когда мы услышали голос Бориса Сергеевича Иванова, присланного к нам от старостата.

— Отворите двери, товарищи.

И Соломон, и Шура одновременно открыли двери. Переступив через порог, Борис Сергеевич сказал:

— По распоряжению Москвы всех политзаклю-

ченных вывозят с Соловков. Мы срочно складываем вещи и двигаемся общим этапом в кремль. Больным и слабым под вещи дают подводы в кремле, на пристани соединяемся с товарищами с Анзерки и Муксолмы, по их прибытии соглашаемся грузиться на пароход. Собирайтесь. Администрация тюрьмы просит не задерживать.

Борис Сергеевич хотел уже уйти, но Шура, умоляюще глядя на него, взял его за руку:

— У нас есть вещи и книги других товарищей, нам необходимо пройти в корпус.

Борис Сергеевич понял.

— Совсем забыл, — сказал он, соберите все библиотечные книги и сдайте. Добровольскому, нашему библиотекарю. Он раздаст книги владельцам. Библиотекарь и завхоз задержатся и догонят нас в пути. Личного обыска, обыска вещей здесь производиться не будет.

Ударение на слове «здесь» говорило само за себя.

Борис Сергеевич ушел. Торопливо складывали мы свои вещи и тихими голосами обменивались соображениями, строили различные варианты на будущее.

Когда вещи были сложены и мы сами были готовы к этапу, Шура с большой связкой книг, включая и «Сполохи», пошел в корпус. Я осталась стоять у окна. Мысленно я прощалась с нашей часовенкой, со всем Савватьевским скитом. Руку я крепко прижимала к щеке, зубная боль перекрывала все другие переживания.

Шура вернулся из корпуса с сообщением о том, что все готовы и выходят из корпуса.

— В этап, Катя, — он обнял меня, и мы тоже вышли из нашей часовни.

На дворе уже командовал конвой.

— Стройся по 10 человек в ряд!.. Женщины, отой-

дите в сторону... Вещи складывайте к вахте!.. Первая шеренга, отойди на пять шагов!.. Стой!.. Вторая... Третья...

В конце этапной колонны поставили женщин. Долго путался конвой с подсчетом. Арестантов было более двухсот человек. Наконец, прием зэков конвоем был закончен. Раздалась общая команда...

— ...Малейшее неподчинение конвою... Шаг в сторону... рассматривается как попытка к бегству... Расстрел на месте... Шагом марш!

Не прошло и года, как я шла по этой же тропинке в Савватьевский скит. Тогда мы шли свободно, без конвоя, спокойно беседуя. Теперь по обе стороны дороги с ружьями наперевес шагали конвоиры. Впереди и позади ехал конный конвой. Грубые окрики. Нас торопили. Лошадиные морды врезались в последний ряд отстававших женщин. Ноги наши скользили по еще не просохшей глинистой земле. Я ничего не хотела. Только бы добраться поскорей. У меня отчаянно болел зуб.

Когда мы добрались до кремля, нас, миновав все здания, вывели прямо на пристань. Конвой окружил нас, расположившись цепью до самого берега. Группами, кто как и кто где, уселись мы на землю, подсохшую вдоль кремлевских стен. Перед нами было море. Нас поджидал пароход. Опять мы были все вместе, и шли толки о том, что ожидает нас. Будем ли мы на материке вместе, развезут ли нас по разным местам?.. Сговаривались, обменивались адресами родных для сохранения связи на будущее.

Администрации Соловков зэки предъявили два последних требования: 1) грузиться на пароход не будем, пока не прибудут политзаключенные с других скитов; и 2) пока нас не покормят обедом.

Погрузить насильно на пароход такую большую

партию арестантов было трудно. Шолом Брухимович, левый эсер, чудесный человек и прекрасный товарищ, рассказал мне об одном насильственном развозе зэков. Было это здесь, на Соловках, с этапом, на котором он прибыл, за несколько недель до прибытия моего этапа.

Савватьевский скит был перегружен зэками, и старостат отказался принять новую партию, требовал открытия нового скита. Администрация не хотела открыть новый скит и решила отправить вновь прибывших на Савватий. Узнав об этом, вся партия зэков, а было их больше двадцати, отказалась идти в этап из кремля. Они легли на нары. Тюремная администрация вызвала подводы, связала зэков, на руках их вынесли из кремля и связанными уложили. Связанными их несли с подвод и положили на землю у Савватьевского скита. Администрация добилась своего. Скит принял людей. Но вся эта операция стоила стольких хлопот, что при поступлении новой партии зэков был открыт скит на Муксолме, и часть зэков из Савватия перевели в него.

Конечно, администрации было бы легче грузить нас партиями, но спорить с нами они не стали. И мы дождались своих товарищей с Анзерки и Муксолмы.

Встретились зэки трех скитов, встретились друзья и товарищи, раньше знавшие друг друга. Я встретилась с теми, кто прибыл со мной на Соловки и потом был отправлен на Анзерку.

Перед погрузкой нас накормили чудесной ухой из свежей форели. Всех отправляемых на материк было человек пятьсот. И всех нас погрузили в трюм. Было тесно, шумно и жарко. Мужчины уступили нам лучшие места. Я сидела на каком-то низеньком ящике, Шура прикорнул на полу, положив голову

мне на колени. Кругом шел тихий оживленный разговор. Я не принимала в нем участия, у меня дико болел зуб.

У Попова острова пароход разгрузился. Минуя бараки, нас вывели к дамбе. По ту сторону дамбы на железнодорожных путях стояли столыпинские вагоны. Настал момент расставания. Нас разведут по вагонам... Куда направят какой вагон?

На этапе в тюрьму

Старосты не могли добиться от администрации — куда нас вывозят? Посоветовавшись, они решили спокойно грузиться. Ведь сами мы голодовкой добивались вывоза с Соловков. Было сказано, что старосты, завхоз, библиотекарь и все наше имущество будут погружены в один вагон. Остальным предлагалось выбрать старост по вагонам. В случае направления вагонов в разные места, старостату будет предоставлена возможность разделить книги, имущество каптерок. «Для связи в пути сделаем все возможное», — говорили нам старосты, и погрузка началась.

По списку конвой вызывал по двадцати человек. Мы прощались с уходившими. Назвали мою фамилию. Крепко пожав Шуре руку, перешла я с товарищами дамбу. Нас погрузили в вагон. В нем уже были зэки. Старосты в нем не было. Мы выбрали вагонного старосту.

Вагон был переполнен. В каждой клетке было по тринадцать человек. Больше в нее втиснуть было невозможно.

— Больше не принимаем! Некуда! Грузите в следующий! — кричал староста нашего вагона конвою.

Но конвоиры новую партию подвели опять к дверям нашего вагона. Я видела в окно, Шура стоял первым в этой партии. Он уже поднялся на первую ступеньку. Я не успела обрадоваться.

— Товарищи, не заходите, у нас переполнено, — крикнул им из вагона староста.

Снаружи произошла заминка. Надзор подталкивал зэков к вагону. Шура спрыгнул со ступенек вниз. Мне он на прощанье помахал рукой.

— Володя, — огорченно шепнула я Радину, стоявшему у окна.

— Молодец Шурка, — сказал он и вдруг стремительно кинулся к двери. Рванув ее и отстранив конвой, крикнул:

— Шура, я еду с Катей, не беспокойся за нее!

Не отрываясь от наших зарешеченных окон, мы смотрели, как партия за партией проходили мимо товарищи, грузились в вагоны, пока площадь перед вагонами не опустела. Тогда забегал конвой. Сколько их было?!.

Раздались гудки, паровоз дернулся, вагоны вздрогнули... мы тронулись. Володя наклонился ко мне.

— Зуб болит, Катя?

Зуб не болел. Не знаю, когда он перестал болеть. Я просто забыла о нем.

Вагоны подрагивали. За окнами опять проплывала унылая тундра. Было нестерпимо душно и жарко. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу. Решетчатые двери купе столыпинских вагонов в коридор были заперты. Конвой расхаживал по коридору. На передней и задней площадках вагонов тоже помещался конвой.

На дорогу зэкам был выдан сухой этапный паек: соленое сало, толщиной с палец, а на нем такой же

слой соли и хлеб. Есть нам не хотелось, от духоты и жары хотелось пить. Воды нам почти не давали, ее мы распределяли по каплям.

По станциям, на которых останавливался поезд, мы узнавали маршрут. Поезд шел в направлении Ленинграда. Как проникали в вагон новости, я не знаю, но они проникали. Сообщалось, что эшелон наш будет разделен и вагоны пойдут по разным направлениям. Это подтверждалось тем, что мужей и жен начали соединять. Таню и Симу перевели к их мужьям в старостатский вагон. Перевели Добровольскую в вагон к мужу. Володя все время ободрял меня.

— Сейчас и вас переведут к Шуре, а лучше бы его к нам.

Я почему-то не нервничала, не волновалась. О Шуре передавали обратное. Он требовал соединения нас у администрации поезда. Нас не соединяли, но он добился объяснения. Ему сказали, что переводят жен к мужьям в тех случаях, когда вагоны имеют разное назначение.

На одной из остановок вызвали всех женщин с детьми. Им объявили, что матерям с детьми тюрьма заменяется ссылкой. Узнали мы и о том, что нашего художника эстонца Энсельда не взяли в этап, его оставили в тюрьме на общем режиме. Позже мы узнали, что он не выдержал уголовного режима и умер на Соловках.

Следя за движением поезда на полукружии дороги, мы обнаружили, что весь состав состоит из столыпинских вагонов. Крайнее купе в каждом вагоне было занято конвоем. Все клетки вагонов были на замках. В уборную зэков выпускали два раза в сутки. Выйти в уборную было счастьем, там можно было вдохнуть свежего воздуха.

Поезд шел без остановок, останавливаясь только затем, чтобы набрать воды. Тогда вагоны загонялись в тупик, появлялась многочисленная охрана, хотя внутривагонный конвой оставался на своих местах.

За перегон или два от Ленинграда мы увидели двух рабочих, идущих по путям. И тут же за окном мелькнул белый листок выброшенный кем-то из зэков. Один из рабочих направился было к нему, но поезд, вздрогнув от толчков, резко остановился. С площадок вагона спрыгнули конвоиры, побежали к рабочим. Отобрав листок, они вернулись в вагон. Поезд двинулся дальше. Нас взволновало, кто бросил письмо, что было написано, не засыпал ли какой-нибудь балда чего существенного... Так мы узнали, что за вагонами ведется наблюдение.

Трое суток шел наш поезд до Ленинграда. Горячей пищи мы не получали, не получали и кипятка. Поллитра вонючей воды выдавалось в сутки на зэка.

Ленинградский вокзал мы тоже миновали, но где-то за городом, среди полей, наш поезд остановился. Мы простояли целую ночь. Я проспала ее. А утром товарищи сообщили, что к нашему составу прицепили еще один арестантский вагон. Пассажиры прицепленного вагона очень быстро нам дали знать о себе. Они запели интернационал. В ответ из нашего вагона понеслись дружные революционные песни. Между вагонами возникла как бы перекличка. Надзор бесновался, орал, но закрыть нам рты был не в состоянии.

Впоследствии мы встретились с пассажирами этого вагона. Это были вновь арестованные студенты Ленинграда. Их обвиняли по делу с.-д. С мужчинами мне не пришлось близко соприкоснуться; с девушками я гуляла потом на одной прогулке. Что

за зеленая молодежь это была!.. Они штудировали Плеханова, читали «Социалистические вестники»... Какие еще преступления совершали они в 1925 году? Но все они получили по решению ОСО по 3 года политизолятора.

Дальше мы опять ехали без остановок. Миновав одну из станций, поезд обогнал какую-то пару — мужчину и женщину. Они шли по железнодорожной насыпи. Взглянув на наш арестантский поезд, они подняли руки, приветственно махая нам. Мужчина снял кепку, в руках у женщины появился белый платочек. Нам стало радостно и тревожно. Неужели опять остановят поезд? Но поезд уходил. Пока могли, мы следили за уменьшавшимися фигурками людей.

Все газетные статьи и заметки клеймили нас. Пласт за пластом громоздили на нас груды грязи и клеветы. Каждое наше слово, каждый наш поступок извращался и перетолковывался самым бесстыдным образом, самые грязные формулировки посвящались нам. Народ молчал. Верил он? Или не верил? Запутанный, затравленный, он притаился, выбрав защитную окраску. Молчанием, или молчаливым поднятием рук санкционировал он все, происходящее вокруг, пошел в услужение победителю.

Конечно, мы верили в справедливость своего дела. Конечно, мы верили, что в глубине человеческих сердец таится сочувствие к нам, вера в нас, может быть, надежда на нас... Надежд мы не оправдали, вера заглохла под гнетом лет и событий. На фоне систематической всесторонней травли — нас, наших идей, — каждое малейшее сочувствие трогало, ободряло.

Почти без пищи, почти без воды, замкнутые в клетки вагона, набитые до отказа, доехали мы до

Вятки. Здесь состав наш загнали, как обычно, в тупик. Но началось необычное движение. Вагоны отцепляли, передвигали, вновь соединяли. Нам принесли обед, — первый за неделю пути. Но зато какой это был обед! — настоящий, человеческий, очень вкусный! Это была не тюремная баланда, а обед вятского ресторана. В глубоких тарелках нам подали суп из свежего мяса и свежих овощей. На второе — мясо с гарниром. На Соловках мы не видели овощей. От переживаний, связанных с таким обедом, нас оторвала новая весть. От нашего поезда отцепили вагон со старостами.

Все старосты, все товарищи, которые когда-либо были старостами, завхозы, библиотекари... Коллектив был обезглавлен. Мы узнали — их везут в Тобольск. Мы узнали это от них самих. Их вагон, прицепленный к паровозу, прошел мимо наших вагонов. Стоя за решетками окон вагонов, они кричали нам приветственно:

— Нас везут в Тобольск! До встречи на воле!

— До встречи на воле! — кричали им в ответ мы.

Никого из них я не встретила больше. С Самохваловым, старостой левых с.-р., в 1939 году во Владивостоке я перекинулась несколькими словами через забор, отделявший мужскую зону от женской. Через этот высокий дощатый забор ухитрился он перекинуть мне, идущей в этап на Колыму без денег и без вещей, подушку и смену мужского белья. Самохвалов спрашивал меня тогда через щель в заборе о своей жене Яковлевой. Я ничего не смогла сообщить о ней. Через несколько часов он ушел с этапом на Колыму. На Колыме мне удалось услышать о нем только после его смерти. Он умер в одном из лагерей Колымы от истощения.

Зачем обезглавила наш коллектив тюремная ад-

министрация? Ответ напрашивался сам. Хотят сломить нас, завинтить режим. Значит, нам снова надо готовиться к тюремной борьбе. Куда везут нас, оставшихся? Будем ли мы иметь возможность снестись с товарищами других вагонов или нас разведут по камерам и запрут в них?..

— Ничего не сделают, — успокаивал меня Володя. — У камер есть стены, а стены — наша связь. Наши старосты предвидели все. Еще на пристани, перед посадкой на пароход, намечен новый старостат.

Снова двигался поезд. Шурин вагон покачивался впереди. Поезд повернул на юг. Все догадки, куда нас везут, рушились одна за другой. Мы миновали и Свердловск, и Челябинск. Наконец, наш поезд остановился на станции Миасс. В те годы это была конечная станция железной дороги. Дальше поезда не шли. За окнами мы увидели скопище крестьянских подвод. Ни об одной тюрьме в этих местах мы не слышали. Может быть, не тюрьма, а лагерь на материке?.. И начались мечтания о лагерной жизни. Только Волк-Штоцкий не принимал наши мечты.

Пожилой, больной туберкулезом, прошедший сквозь царские тюрьмы, он ворчал:

— Сидеть, так уж в тюрьме. Нет воли — пусть будут камеры.

За окнами началось движение. Взад и вперед бегали конвоиры. Вдоль вагона по обе стороны поезда выстроились вооруженные, со штыками наголо, красноармейцы. Вплотную к вагонам одна за другой подъезжали подводы. Разгружался уже соседний вагон. За ним шла наша очередь.

Володя Радин рассуждал:

— Шура из своего вагона выйдет, конечно, последним. Вы, Катя, из нашего вагона выходите пер-

вой. Если не на одной подводе, то рядом будете.

Мы видели, что на каждой подводе лежали вещи, сидел возчик, конвоир и двое зэков. Нас было не меньше 400 человек. Сколько же подвод? Двести?

Вагонные клетки уже открыты, по заполненному товарищами коридорчику я пробираюсь вперед, чтобы выйти первой. Я стою у самой двери. Гляжу в окно. У ступенек соседнего вагона препирается с конвоем Шура. Он медлит. Перед вагоном стоит подвода.

Двери нашего вагона открываются, я спускаюсь со ступенек. Увидев меня, Шура проскальзывает мимо конвоира, почти снимает меня со ступенек, мы бежим к подводе. Садимся. Оторопевший было конвой бросается за нами, но кто-то дает команду:

— Отъезжай!

Конвоир прыгает на подводу, возница шевелит вожжами, лошади трогаются.

Мы молча сидим рядом. Держимся за руки. Наша подвода выезжает на проселочную дорогу. Впереди длинная вереница подвод. Вдоль всего состава разъезжают верховые. За нами, одна за другой, выезжают новые подводы. Наконец, весь этап погружен на телеги. Длинной лентой растянулись они по дороге. Выстраивается конвой. По конвоиру на каждую телегу. На каждые четыре телеги — двое верховых, один справа, один слева. Группа всадников, человек двадцать, объезжает этап. Позади походная кухня и подводы с грузом. Еще раз начальник этапа пропускает весь состав мимо себя, а затем на рысях обгоняет его.

Из Савватьевского скита мы выехали ранней весной. Еще не пробивалась сквозь землю трава, еще не налились почки на деревьях. Две недели тряслись мы в душных вагонах с северо-запада на юго-

восток. Из окон вагона мы не замечали пробуждения природы. В это ясное утро мы очутились внутри самой природы, в полном и пышном цветении. Шагом едут подводы, по обочинам дороги сочная, свежая трава, цветы, кустарники, деревья в пышной листве... Никогда так жадно не вдыхала я напоенный всеми ароматами воздух. Кругом ширь полей и дорога вьется вдаль... по холмам... все выше, все круче. Этап переваливает через Урал.

Чем дальше мы ехали, тем труднее становились подъемы, тем однообразнее природа. Ни ручьев, ни речек не встречалось на нашем пути. Изредка гнилые болотца, застоявшиеся лужи, затянутые плесенью.

Час, другой, третий... Утренняя прохлада таяла. Солнце стояло высоко и нависала жара. Хотелось есть, а, главное, пить. Пить... А лошади все шли. Мы видели, как с подвод соскакивали зэки и, припадая к лужам, жадно глотали ржавую воду. Тогда раздавались окрики конвоя.

Ни одного селения, ни одного домика... Мы не встретили ни одной подводы, ни одного пешехода. Нас везли какими-то заброшенными дорогами.

Часа через четыре караван остановился. Возчики с ведрами шли к какой-то промоине, черпали воду, поили лошадей.

Вдоль подвод проскакивал верховой, выкрикивая команду:

— Разрешается сойти с подвод на оправку!

Вокруг ни кустика, ни деревца... Женщин в этапе было мало. Там и сям были вкраплены они в мужскую среду. Куда же деться? Как и где уединиться? Мы порывались уйти подальше, сделать заслон из самих себя.

Мне повезло. На подводе впереди ехали две жен-

щины, левачка Рахиль Семетицкая и М. Н. Волкова. Мы уединились втроем.

На одной из таких остановок одна из наших женщин отошла в сторонку, подальше, к отдаленному кустику. Она запоздала. Дана была команда — двигаться в путь. Лошади тронулись. Оглянувшись, я увидела, что на торопливо идущую к подводам товарку бежит, размахивая руками, конвоир. Я вскочила на подводе и закричала:

— Стойте, товарищи!

У нас было условлено, в случае инцидента с конвоем — не вступать в пререкания, а останавливать весь этап. Так я и хотела сделать. Мой крик подхватили соседние подводы. Товарищи на ходу соскакивали с телег. Но пристяжная подвода, на которой ехала Рахиль, рванула в сторону и понесла. Рахиль вывалилась из телеги и попала под колеса. Все это произошло в одну минуту. Я не помню, кто из товарищей остановил подводу, буквально повиснув на узде.

Мы с Шурой подняли Рахиль. Шура отнес ее на руках к телеге. Ей придавило ногу. Все зэки стояли у своих подвод. От головы эшелона к нам скакало начальство.

— Врача! Пришлите врача! — неслось ему навстречу.

Рахиль лежала на своей телеге бледная и дрожащая от испуга. Она просила пить. К подводе подъехал врач, сопровождавший эшелон. Он осмотрел ногу Рахиль и сказал, что кость цела, что он ничего не может сделать, так как во всем эшелоне нет ни капли воды. Была ли это правда? У каждого конвоира на поясе висела фляжка. Может быть, они были пусты? Нам не было от этого легче. Рахиль мужественно улыбалась, пытаясь успокоить меня.

Весь долгий знойный день мы ехали по открытой холмистой дороге. Солнце пекло немилосердно, подводы тряслись по ухабам. Когда солнце закатилось за горизонт и все вокруг посерело, этап остановился на ночлег.

Место, выбранное для ночлега начальником конвоя было до крайности неподходящим: большая болотистая низина меж холмов. Кольцом объезжали ее наши подводы, а когда кольцо сомкнулось, нам предложили сойти с подвод и внутри образованного телегами круга устраиваться на ночевку.

Легко было сказать — устраиваться. Вещей с подвод снять не разрешили, так как стоянка будет недолгой. По ложбине стелился такой густой туман, что мы едва различали цепи конвоя, выстроившегося за телегами.

Лошадей распрягли, угнали пастись. Подъехала походная кухня. Нам выдали по ломтю хлеба и по миске вонючей, пахнущей тиной, похлебки.

Пусть за двойным кольцом подвод и конвоя, но мы все же встретились, были все вместе, сами с собой.

Спешно обсуждались нами вопросы поведения в ожидании неизвестности. Первый и основной вопрос — сохранить, в какие бы условия мы ни попали, нашу организованность, наш старостат. Общим старостой всего этапа без различия фракций был избран с.-р. Раснер. Он отбывал срок на Муксолме. В помощники ему был избран заместитель с.-д. Малкин. Вновь избранный старостат удалился на совещание. Мы группами бродили в тумане ложбины. Лечь никто не решался. И так одежда стала влажной от сырости. Боялись мы за своих больных товарищей, но, очевидно, нервное напряжение де-

лало людей невосприимчивыми к заболеваниям. Под конец, обессилев, мы все-таки легли на землю.

Летняя ночь коротка, первые лучи восходящего солнца застали нас на подводах. В этот день мы перевалили через Урал. Я была разочарована. Я всегда слышала о живописности Урала. Ничего красивого, живописного я не увидела. Сопки... полукруглые холмы, набегавшие друг на друга, то голые, то покрытые редкой серо-бурой травой. Надо всем висела жара, зной.

Мы поехали с Соловков тепло одетыми. Мужчины счастливые! Они просто скинули верхние рубахи. На мне было одето черное шерстяное платье. Закрытый ворот, длинные рукава. Застегивалось оно на спине. Я ухитрилась надеть его задом наперед, расстегнуть ворот.

Вторую ночь мы провели так же, как первую, в сырой лощине. На третий день мы впервые увидели далеко-далеко церковные купола, селение. Оно то тонуло в холмах, то выплывало. Мы страшно устали. У многих были солнечные ожоги. Мучительно хотелось добраться до нового поселения, — тюрьмы ли, лагеря ли, — только бы конец этому пути. Может быть, это селение — конец нашего странствия? Но подводы снова повернули в сторону. И снова ночевка в пути.

На этот раз мы ночевали совсем недалеко от цели нашего путешествия. Мы могли бы к ночи добраться до нее. Но этап подходил к цели кружной дорогой, минуя жилые места. У нас ли должно было создаться впечатление необжитого края, или нас не должна была видеть ни одна человеческая душа?

Рано поутру мы прибыли. Мы сразу поняли, что подъезжаем к цели. Среди пустой, выжженной

солнцем степи стали вырастать красивые кирпичные стены тюремной ограды. За ними — тюремные корпуса.

Крепкие, широкие чугунные ворота. К ним по очереди подъезжали подводы. Зэков через узенькую калитку впускали во двор.

Двор был велик. Но и арестантов было много. Когда высадка кончилась, начальство, приехавшее с нами, скрылось за вторыми, внутренними воротами.

— Тот высокий, тонкий, — указал мне кто-то из товарищей, — Ягода, а пониже — Катанян.

На последней ночевке старостатом была сообщена нам линия поведения: с самых первых шагов жизни на новом месте добиться признания старостата, но избегая конфликтов. Размещение зэков по камерам должно быть согласовано администрацией тюрьмы со старостой. В случае увоза старосты он сам передает старостатство избранному им зэку, о чем уведомляется весь коллектив. Всеми денежными суммами ведает староста и расходуются они по его распоряжению. Зэки не вступают ни в какие переговоры с администрацией тюрьмы ни по общим, ни по личным вопросам; ни на какие активные выступления зэки не идут, конфликтов с надзором избегают.

Предусмотреть все детали нашего поведения в новых условиях мы не могли, но коллектив, проживший годы на Соловках, и не нуждается в подробных указаниях. С полслова понимали мы друг друга и реагировали все одинаково.

Правда, теперь с нами оказалась группа студенческой молодежи из Ленинграда. Ей предложили во всем следовать советам старших товарищей.

6. ВЕРХНЕ-УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТИЗОЛЯТОР

Из тюрьмы вышла администрация принимать этап. Принимал его начальник тюрьмы Дуппер, сдавало начальство этапного конвоя.

Нас выстроили по пять человек в ряд. Пересчитали пятерки. Но когда началась поименная перекличка, Раснер, стоявший в первом ряду, выступил вперед и сказал:

— Поименную перекличку и развод по камерам мы просим производить только с участием старосты. Только по его вызову будут выходить зэки.

— Никаких старост! Здесь не Соловки. И не лагерь. Я сдаю этап начальнику Верхне-Уральского политизолятора.

Ягода прочел первую фамилию.

В рядах зэков царило спокойное молчание. Неоднократно повторяли Ягода и Дуппер, что требование признать старостат безнадежно. Напрасно зачитывали они то одну, то другую фамилию. Строй арестантов молчал. Краснея от гнева и не зная, что предпринять, Ягода почти крикнул угрожающим голосом:

— Первая пятерка, шагом марш!

Первая пятерка двинулась вперед и зашла в здание тюрьмы. Опять попытался Ягода называть зэков по фамилиям. Никто не отзывался. Тогда он стал вызывать по пятеркам...

Никогда раньше, никогда позже не слышала я о приеме этапа без поименной переклички. Очередь

приближалась к нам с Шурой. Мы стояли в одной пятерке и думали, что зайдем в тюрьму вместе.

Но раздалась новая команда:

— Женщины, выходи вперед!

Снова разлучались мы с Шурой.

— Мы будем вместе, — спешно сказал он мне, — хотя бы на одной прогулке. Я кивнула головой и выступила из своего ряда вперед.

В нашем этапе было всего около двадцати женщин. Всех нас завели в тюрьму сразу.

Войдя в тюрьму, мы попали в огромное полутемное помещение. Все оно было заставлено длинными столами, заваленными бумагами, папками, делами. За столами сидели работники тюремной конторы. За одним из столов сидел человек в военной форме.

— По одной подходить.

Я первой отделилась от группы товарок.

— Ваша фамилия?

Я молчала.

— Вы слышите меня? Назовите свою фамилию, а то хуже будет!

— Староста знает мою фамилию, — ответила я.

— Вещи свои получать будете? — последовал вопрос.

— Когда староста скажет, буду получать.

Сидевшие за столом сотрудники перебирали папки с делами.

«Ведь при каждом деле есть фотокарточка», — подумала я.

— Перевести в камеру № 7.

От группы надзирателей отделился маленький, коренастый, совсем молодой. Молча указал он мне направление. Я оглянулась на товарок, кивнула им и пошла к двери. От двери шел широкий, длинный,

сводчатый коридор. Под ногами цементный пол. За коридором поднималась лестница.

Я отсчитывала повороты и этажи. Первый... второй... третий... Площадка лестницы уперлась в большую, окованную железом дверь. В двери окошечко глазка. Дверь открылась, за нею стоял надзиратель. И снова — коридор. С обеих сторон его — двери камер. Коридор не был сквозным. Он был поделен на части. Каждая часть отделена окованными дверьми, у каждой двери — надзиратель. Каждая дверь — на замке.

Мы свернули направо. Теперь двери камер шли только с одной стороны. С другой — высокие зарешеченные окна.

Я не успела оглядеться — третья дверь по коридору под номером 7. Надзиратель повернул ключ в замке. Я вошла в камеру.

Переступив порог, я остановилась, пораженная. Прямо передо мною, против двери огромное окно. Конечно, оно зарешеченное, но трехстворчатое, выше человеческого роста, метра полтора в ширину. Сколько света лилось в камеру!

Камера высокая, побеленная. Восемь шагов в длину, шесть — в ширину. Вдоль стен два деревянных топчана, небольшой столик, один табурет. В углу, конечно, параша. На двери — правила внутреннего распорядка, такие же, как во внутренней тюрьме.

«Эх, — мелькнуло у меня в голове, — Шуру бы сюда, на второй топчан». Больше я не успела ни о чем подумать. В соседней камере щелкнул замок. А через какую-нибудь минуту я услышала женский голос. Я бросилась к окну, стремительно дернула створку. Она послушно открылась.

— Кто в пятой камере? — крикнула я в окно.

— Наташа Изгодина, анархистка с Муксолмы, а вы?

— Олицкая Катя, эсерка с Савватия.

— Вещей не брали?

— Нет.

— Фамилии не называли?

— Конечно, нет.

— Кто рядом с вами?

— Пока никого.

Откуда-то издали послышался женский голос. Звучал он тихо. Мы не могли различить слов. Окно моей камеры выходило в небольшой, окруженный стенами дворик. Напротив, метрах в восьми, высилось красное кирпичное здание. Стена была глухая, без окон. Только в первом этаже прорезана входная дверь. За каменными кирпичными стенами забора, окружавшими дворик, видны были еще дворики, поросшие высокой травой. Их всех окружала высокая тюремная стена. По углам, как полагается, вышки часовых.

Из моего окна видны были два дворика. Очевидно, прогулочные дворы. Тогда можно будет видеть гуляющих, подумалось мне.

Опять провели кого-то по коридору. Открылась дверь камеры № 3.

Первая створка окна забита гвоздями, но открывается. Я стучу в стену, узнаю — соседок две — Катя и Люся. Обе с Муксолмы. Передаю о них через окно Наташе. Потом Катя с Люсей передают, что во второй камере Шура С., студентка из Ленинграда. Ее камера — крайняя. Значит, наши камеры все женские. Верхние и нижние этажи пока молчат. Наташа говорит в окно:

— Может, и все крыло женское?

В ее голосе огорчение. Мы строим уже планы, как связаться с мужчинами.

Я начинаю гадать, кого же из женщин приведут ко мне. Раздумья прерывает звук ключа, вкладываемого в скважину моей двери. Я ожидаю появления маленькой женской фигуры... А через порог переступает Шура, такой высокий, такой долговязый... Ошеломленная, я невольно отступаю назад. А Шура стремительно подходит ко мне.

— Что с тобой, Катя?

Но со мной уже ничего. Только Шура уверяет, что при его появлении на моем лице отразился ужас.

Шура знал, что его ведут ко мне. Когда на приеме он отказался назвать фамилию, начальник с насмешкой сказал:

— Ведите к жене, в седьмую камеру.

Что будет? Как будет?.. А пока нам радостно вдвоем в пустой тюремной камере. Мы грязные, голодные, оборванные, но мы — вместе.

Я рассказываю Шуре о наших соседях. Шура знает Наташу и ее мужа, Юру. Его, очевидно, приведут к ней. Я вызываю Наташу к окну, но вместо нее отзывается мужской голос. Я ошеломлена, а Шура, перегибаясь через мое плечо, кричит:

— Юрка, здорово!

Шура очень доволен соседством Юры и Наташи. Он рассказывает мне о них. Оба они с Полтавщини. Анархисты, хорошие ребята. Наташе — 19 лет. Юра чуть старше. Нас вызывают к стене. Во вторую камеру к студентке-ленинградке привели ее бывшего мужа. Она с ним разошлась за месяц до ареста. Она не хочет сидеть с ним в одной камере. Называть фамилий нельзя. Что делать?

В корпусе тишина. Изредка щелкает глазок двери. Теперь, когда мы вдвоем, он нас особенно коро-

бит. Мы — вдвоем, мы — наедине, и в то же время под вечным наблюдением человеческого глаза.

Забегали надзиратели, защелкали форточки.

— Личные вещи получать будете?

Из всех камер один ответ.

— Без разрешения старосты — не будем.

Примерно через полчаса новый вопрос.

— В баню пойдете?

— Без мыла, без полотенец, без белья в баню идти не можем.

Может быть, через час мы услышали — идет обход. Открываются двери камер. Когда очередь дошла до нашей, мы увидели человека в белом халате, не то врача, не то фельдшера.

— Согласно тюремным правилам, мы не можем принять этап, не пропустив его через баню. Тюрьма казенным бельем не обеспечена. Получайте личные вещи и идите в баню. Возможны инфекционные заболевания. Администрация тюрьмы не может отвечать за эпидемии, — говорит он каким-то скучающим голосом. Очевидно, ему надоело говорить это по всем камерам.

— Не пойдем, — отвечает Шура.

Дверь за посетителем закрывается. Мы с Шурой переживаем разговор с врачом, но форточка опять щелкает.

— На прогулку пойдете?

Мы устали, но разве можно отказаться от прогулки в новой тюрьме!..

— Конечно, пойдем!

Мы слышали, с тем же вопросом надзор обращался к соседней камере. И загремели открываемые двери. Мы выходим в коридор. Прогулка общая для крыла. Юра, Наташа, Катя, Люся, Шура С. с му-

жем и я с Шурой. Мы спускаемся с лестницы и выходим во дворик перед нашими окнами. Пересекаем его и выходим на прогулочный двор. Он большой и весь зарос высокой зеленой травой. Никто не ходил здесь до нас — ни тропинки, ни дорожки. Жаль топтать эту траву, но что поделаешь! Мы гурьбой выходим на середину двора.

— Полтора часа прогулки, — говорит нам вслед надзиратель и вешает на стену песочные часы.

Кружком садимся мы среди двора на траву. Нам видны тюремные окна нашего крыла и продольного крыла второго и третьего этажей. Мы болтаем, а будущее — в тумане, мы устали.

— Наташа, спойте что-нибудь, — говорит Шура.

У Наташи чудесный голос. Она поет гимн анархистов. В окнах корпуса появляются люди. Они приветственно машут нам платками. Узнать издали мы никого не можем. Все равно, это — наши товарищи. Мы машем им в ответ.

Спокойно ходивший вдоль забора надзиратель явно обеспокоен. Очевидно, у него нет инструкции в отношении пения. Он нажимает кнопку звонка. На вызов приходит старший. Пошептавшись между собой, они сообщают: «Прогулка окончена».

Едва мы зашли с Шурой в свою камеру, как услышали голоса и шаги под окнами. Подойдя к окнам, мы увидели, что через дворик проходит группа наших товарищей, человек пятнадцать. Все они шли с прогулочного двора, расположенного против нашего.

— Шолом! — кричит Шура в окно.

Шолом поднимает голову.

— Шура! Катя! С новосельем!

Шолом всегда шутит. Но, Боже мой, какие они все

оборванные, грязные! Брюки — сплошная бахрома.

Гулявшие зашли через те же двери тюрьмы, через которые выпускали нас. И через минуту мы услышали топот ног по нашему коридору. Товарищи возвращались с прогулки мимо нашей камеры. У дверей нашей камеры Шолом громко сказал:

— Привет, Шура, Катя!

— Привет! Привет! — закричали мы в ответ.

Ура! С первых же часов жизни стены камер раздвинулись!

Вечером, во время оправки, мы познакомились с нашей уборной. Уборная играет большую роль в жизни зэков. В нее водят зэков из многих камер. Через нее поддерживаются связи с камерами соседнего коридора, с верхними и нижними этажами. Уборные подвергаются систематическим и самым тщательным обыскам, но зэки изощряются и почти всегда умеют перехитрить администрацию тюрьмы. От осторожности зэков зависит продолжительность связи.

Год провела я в Верхне-Уральском политизоляторе. С самых первых дней нами были созданы два места для переписки, то есть два почтовых ящика. Оба места продержались до моего отъезда. Но сделаны они были замечательно!

На второй или третий день Шолом, идя на прогулку, бросил в нашу камеру хлебный шарик. В нем оказалась тоненькая проволочка со спичку длиной, кончик ее был загнут, как крючок. Это был ключ.

Вечером по ниточке через окно с верхнего этажа нам спустили записку. В ней дано было указание, как пользоваться ключом.

В уборной в деревянной кошелке для полотенец и в деревянном...... (пропущена строка. — Прим.

перепечатывающего). В древесном сучке — щель, в нее закладывается ключ. Затем, после поворота, ключ поднимает сучок, как пробку. Под сучком была высверлена дыра, в которую входила записка, туго скрученная, по длине и ширине равная мундштуку папиросы.

Обычно, почту нашей прогулки отправлял и принимал Шура. Всего два раза заменяла его я. Даже зная, где искать и что искать, я еле высмотрела нужный сучок и щель в нем.

Ну и берегли же мы эти два места! Вся личная корреспонденция зэков шла иными путями. По этим — шла только связь со старостой.

Третий день сидели мы в своих камерах — грязные, без постельных принадлежностей, без вещей и книг. Мы получали ежедневно еду. После соловецкого питания, она нам казалась очень вкусной. В нее входила картошка, свежие овощи, лук. Суп варили из свежего мяса, которого мы на Соловках не видели. Дни чередовались. Один был мясной, другой — рыбный.

Мы получали прогулку два раза в день. Полтора часа до обеда и полтора часа после обеда. Два раза в день, утром и вечером, нас выпускали на оправку в уборную. Остальное время мы проводили в камерах под замком.

Конечно, нам было очень тоскливо без книг, очень трудно без вещей: ни мыла, ни полотенца, ни белья, ни постельных принадлежностей. Месяц не мылись мы, месяц не меняли белья. Особенно трудно было женщинам.

На четвертый день с обходом по камерам пошел начальник тюрьмы. Мы вежливо здоровались с ним, но на его вопрос, нет ли у нас заявлений или вопро-

сов к нему, заявляли, что все заявления и вопросы зэков перед ним поставит наш староста. Самым мучительным для нас был вопрос почтовый. Больше месяца не писали мы родным. А начальник уведомлял:

— Почта принимается раз в декаду, в день обхода начальником камер. Сегодня до вечерней поверки можете сдавать письма дежурному по корпусу.

В тот же день вечером после поверки, когда все прогулки окончились, во дворике под окнами нашей камеры раздались шаги, послышались голоса. Мы выглянули в окно. Целая группа наших товарищей со свертками белья под мышками шла в баню. Среди них был наш староста Раснер, он кричал:

— Товарищи, получайте вещи, идите в баню! Подробности сообщу позже!

Партия арестантов вошла в двери здания, расположенного перед нашими окнами. Как удачно, каждые десять дней мы с Шурой можем видеть всех зэков, проходящих мимо наших окон.

Как только двери здания закрылись, мы с Шурой принялись передавать камерам:

— Староста договорился. Товарищи, принимайте вещи, собирайтесь в баню!

И уже вызывали надзор, требовали вещи, надзор ворчал:

— То отказывались, теперь всем подавай. Получите в порядке очереди.

Всю ночь и весь следующий день мыли людей в бане. Мы не отходили от окон, караулили. Не с одной партией обменялись мы приветствиями! На следующий день мы получили подробную информацию от старосты.

Неофициально, но фактически староста был признан. Начальник вел переговоры с Раснером по всем вопросам жизни коллектива. Он сказал, что не допустит обхода камер старостой, будет пресекать связь между камерами разных прогулок, но сам добавил, что ему ясно, что зэки всеми силами будут поддерживать эту связь. Чья возьмет. Начальник разрешил перевод денег со счета на счет заключенными на одной прогулке. Перевод денег с прогулки на прогулку разрешается по письменному заявлению, поданному ему во время обхода. Книги, газеты, журналы разрешается передавать с прогулки на прогулку только через библиотекаря тюрьмы. Передача продуктов, вещей — с особого разрешения начальника.

Раснер уведомил начальника тюрьмы, что по всем вопросам нашей жизни переговоры сейчас и впредь будет вести только он. В случае каких-либо сообщений или требований к зэкам опять-таки надо обращаться только к нему. По личным вопросам зэки будут говорить сами с начальником тюрьмы во время обхода.

Староста прислал нам инструкцию распорядка нашей жизни: «Каждая прогулка выбирает ответственное по прогулке лицо, которое держит связь со старостой, ведет учет всех денежных средств зэков на прогулке. Староста сообщает ему, какую сумму может израсходовать на себя каждый здоровый и каждый больной. О состоянии здоровья всех зэков сообщается старосте. Староста пришлет указания, какие газеты и журналы выписывает каждая прогулка. Все продуктовые посылки, получаемые зэками прогулки, делятся между ее членами с учетом больных. В случае надобности перевода денег с про-

гулки на прогулку перевод будет делаться через начальника тюрьмы.

После получения личных вещей, бани, обхода библиотекаря началась наша повседневная верхнеуральская жизнь.

Тюремный паек был совершенно терпимым. Деньги, которыми мы располагали, уходили, главным образом, на выписку газет, журналов, на почтовые расходы. В основном, прикупали спички, махорку, хлеб. Летом — овощи: огурцы, морковь...

Борьба за права

Верхне-Уральская тюрьма открылась нами. Она не была обжита ни зэками, ни надзором. В ней не было никаких традиций.

Традиции мы привезли с Соловков. Надзор был еще дезориентирован. Его, очевидно, наставляли, как надо держаться с новыми арестантами. Ему внушали, что мы — «враги народа», подлежащие строжайшей изоляции. Вступать в разговоры с нами надзору было категорически запрещено. И в то же время ему внушалось, что мы — не обычные арестанты, а политизолированные.

Попав в новую тюрьму, мы понимали, что с первых дней надо отстаивать свои права, пока еще не установился режим. Перестукивались мы, конечно, и днем, и ночью, нисколько не маскируясь. Из этажа в этаж через окна по нитке передавалась почта. С одного прогулочного двора на другой почта перебрасывалась через забор. Конечно, надзиратели старались ловить почту, иногда им это удавалось. Через окна мы переговаривались, в камерах пели, пели и хором, стоя у окон. Все это шло не без борьбы.

В первые дни, когда мы переговаривались через окна, надзиратели с вышек начинали кричать, заглушая криком наши слова.

Однажды, по распоряжению ли начальства или по самочинству дежурного, по товарищу, говорившему через окно, был дан выстрел. Пуля влетела в камеру, выбив стекло. К счастью, она никого не задела. Сейчас же началась обструкция по всему корпусу. Мы били в двери камер руками, ногами, крышками от параш. Во всех камерах у окон стояли зэки и перекрикивались. Все коридоры заполнил надзор. Этот грохот продолжался до тех пор, пока не явился начальник для переговоров со старостой, и пока староста по нашим нелегальным каналам не дал нам указание прекратить обструкцию. Начальник заверил старосту, что стрелявший снят с поста и будет подвергнут наказанию.

Вторая обструкция была примерно через месяц после нашего приезда. Нелепа она была и никчемна. В послеобеденное время, ожидая вечерней прогулки, мы, как обычно, сидели по камерам и читали. Внезапно нам послышался крик, а затем стук. Мы прислушались. Стук нарастал. Если вначале нам показалось, что стучит одна камера, то теперь стучало целое крыло. Наше крыло стало перестукиваться, пытаясь узнать, в чем дело. Ничего понять мы не могли, но грохот усиливался и приближался. Коридоры опять наполнялись надзирателями. Они бегали от форточки до форточки дверей, требуя прекращения стука, спрашивая, что нам нужно. Мы сами не знали, что нам нужно, — нам нужно прекращение стука другими.

Тюрьма грохотала. Надзор обезумел. В волчок дверей они просовывали дула револьверов, грозя

стрелять. Дверь нашей камеры расшаталась. Что делать, если она сорвется с петель, и мы вылетим в коридор? Я стала держать дверь, чтобы она не сорвалась, а Шура лупил в нее крышкой от параши.

Мы узнали потом, что в камере у Шолома дверь почти сорвалась с петель, и они тоже ее держали.

Я не помню, как закончилась обструкция, а возникла она глупейшим образом. Один из ленинградских студентов получил из дому посылку. Ему пришло в голову передать кусок колбасы товарищу с другой прогулки, просунув его через волчок двери. Идя по коридору на прогулку, он подбежал к волчку камеры и стал просовывать в него колбасу. Надзиратель схватил его плечи и потянул от волчка. Другие зэки, идущие на прогулку, оглянулись и, не поняв, в чем дело, подняли крик. На крики прибежали надзиратели из других коридоров и стали загонять, заталкивать всех в камеры. Тогда застучало все крыло. Стук подхватила вся тюрьма.

Вспоминать об этом как будто смешно, тогда же нам было не до смеха.

Тюрьма! Может ли понять ее человек, не сидевший? Условия, в которых мы находились на Соловках и в Верхне-Уральске, многим зэкам последующих лет казались раем.

Нас не так уж плохо кормили. И камеры были не так уж плохи. Мы получали газеты, журналы, книги, по пяти в декаду от библиотекаря, мы встречались с товарищами по прогулке, в камерах у нас были все наши личные вещи — письменные принадлежности, нитки, иголки, ножницы, даже бритвы. Жены сидели в камерах с мужьями, братья и сестры соединялись на прогулке. Мы имели право написать и получить по три письма в месяц (ближай-

шим родственникам). Так было. Но тюрьма остается тюрьмой. Человек, лишенный воли, человек, запертый за решетку, всегда мечется по своей камере, всегда меряет ее шагами. Самый воздух тюрьмы отравлен. Отравлены и лица арестантов, серые, землистые, одутловатые. Политических зэков сопровождают всегда специфические условия. Они не чувствуют за собой никакой вины перед своей совестью, перед своим народом, перед человечеством. В большинстве своем это люди, которые во имя блага других, как они его понимают, приносят в жертву свою личную жизнь. Из жизни, в которой они отказывали себе во всем ради борьбы, из борьбы за идеалы, ради которой они причинили боль своим родным и близким, их вырвали и посадили за решетку... Где-то идет борьба, здесь — бездействие, вынужденное, томительное...

В царские времена было легче. Тогда мир делился на два лагеря — угнетателей и угнетенных. Тогда все лучшие люди, по крайней мере, сочувствовали жертвам неравной борьбы.

А теперь? Если у зэка рождалось малейшее сомнение в правильности тактических приемов его партии, если рождалось малейшее сомнение в ошибочности тактики его политических противников, ему приходилось плохо. Ведь он сидел в тюрьме, когда вокруг шла борьба за его идеалы.

Как-то вечером, когда мы сидели и занимались, застучала, вызывая нас, нижняя камера. В ней сидел товарищ, принадлежавший к «народовольцам». Знали мы его мало, связь поддерживали чисто деловую, так как через него шла почта на нижний этаж. Высказывался он всегда очень лево и народнически.

Я ответила на его вызов и стала слушать. По мере принятия слов, сердце мое сжималось. Он стучал: «Я пришел к заключению об ошибочности ряда положений... Я подал письмо с отказом от...»

Мне было достаточно.

— Что ему надо? — спросил Шура.

Я сказала. Мы оба молчали. Нам нечего было отвечать ему.

— Надо известить старосту, — только и сказал Шура.

Тюрьма сломила еще одного человека.

В середине лета к нашей прогулке присоединили еще одну камеру. Вызвано это было тем, что в Верхне-Уральский политизолятор прибыла еще группа зэков, которых решили изолировать от нас. Да и сами они не пожелали установить с нами связи. Мы поняли, что это не социалисты. Так это и оказалось. Это были, по-видимому, первые коммунистические ласточки в советской тюрьме.

Первые зэки-коммунисты

Мы давно уже были уверены, что рано или поздно встретимся в тюрьме с большевиками. За это говорила логика событий. Если инакомыслие приводит в тюремную камеру, если социалисты и анархисты загнаны в политизоляторы, специально созданные для одного крыла рабочего движения, то неизбежно жизнь приведет сюда и оппозиционные течения правящей партии.

Было у меня, да и не у меня одной, не злорадное, но насмешливо-презрительное отношение к прибывшим: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь».

Еще на Соловках из газет мы знали о расколе в правящей партии, об оппозиции и ссылке Троцкого. Кем-то из товарищей была сложена песенка: «Веселые делишки писать в России книжки...», оканчивалась она словами: «Ты, Лева, тиснул зря уроки Октября». Троцкий и иже с ним зажимали рты нам, теперь зажали рот ему самому. В Верхне-Уральском троцкисты сидели в отдельных камерах, гуляли на отдельных прогулках, ни в какую связь с нами не вступали, даже отказывались передавать почту...

Мечты и планы

Заводить семью мы с Шурой считали себя не в праве. Какая семья, если в настоящем и в будущем у нас тюрьма? Но под угрозой близкой разлуки мы все же решили соединиться. Мы часто говорили с Шурой о праве нашем иметь ребенка, о возможности воспитать его. Пока мы обдумывали и обсуждали, я забеременела. Мы встали перед фактом. Новое входило в нашу жизнь, во многом от нас не зависящую. Раньше мы предполагали, что после Шуриного освобождения я просижу еще около полутора лет. Теперь мы узнали, что в политизоляторе женщин с детьми не держат. Отправляют в ссылки. Что беременных освобождают за полтора месяца до родов. Для нас это означало, что через какой-нибудь месяц после Шуры выйду из тюрьмы и я.

Для политзэков был создан в те годы какой-то единый стандарт репрессий. Все мы получали в административном порядке по пунктам 58^{10}-58^{11} три года политизолятора, за которыми следовало три года ссылки. Дальнейшее нам было неизвестно, но первое мы знали твердо.

Мы не хотели ссылки. Нас манила воля. Передо мной теперь выбора не было. С ребенком на руках я поеду туда, куда меня повезут. Я буду жить в ссылке, растить ребенка. Обо мне нечего было думать, но Шура... Неужели и он должен быть пригвожден к ссыльному месту? Мечтать мы умели. Хорошо мечтать в тюрьме, на тюремной койке. Мы мечтали о том, что по крайней мере он не будет сидеть в ссылке. Уйдет в подполье.

Мы знали о разгроме всех партийных организаций на воле, о жестоком режиме террора, о невероятно трудных условиях подполья. Мы знали, что все нужно начинать сначала. Знали мы и то, что у большинства наших товарищей очень пессимистические настроения, что они не верят в возможность подпольной работы. Они полагали, что нужно ждать тупика, в который заведет коммунистов их политика. Мы с ними не соглашались. Мы не считали для себя возможным — сидеть и ждать.

Ощущая на себе изо дня в день, из часа в час гнет государства, гнет бюрократической машины, мы мечтали о подлинной социализации, о вытеснении государства обществом из всех сфер человеческой жизни. Мы не только мечтали, мы упорно занимались, читали, обсуждали. Шура штудировал труды Герцена, Лаврова, Чернышевского, Михайловского. Он вылавливал всевозможные статьи из журналов, старых и новых. Следил, насколько это было возможно, за современным развитием социалистической мысли за границей. Книгами и журналами мы были обеспечены хорошо.

В ту пору мы отошли уже от идеалистического понятия демократии. Оно казалось нам расплывчатым и неясным. Чудесная русская пословица: «Жи-

ви, и жить давай другим» перефразировалась нами «Человеку дозволено все, чем он не посягает на независимость другого человека».

Демократия трактовалась всеми — буржуазией, коммунистами... Она навязла у нас в зубах. Все хватались за нее, все аргументировали ею...

Мы стояли за демократию для демократов. В обществе свобода должна быть гарантирована всем, кто не посягает на саму свободу. Принуждение и насилие могут быть применяемы к тем, кто сам применяет или проповедует насилие над другими.

Мы искали и нащупывали новые аргументы, новые пути. Но их должна была подсказать новая жизнь. Кропотливая работа с людьми и над людьми для выковывания кадров на борьбу за свободную, гармонически развивающуюся человеческую личность против левиафана государства.

Время шло. Приближалось время Шуриного освобождения, разлуки надолго. Мы решили не добиваться соединения в ссылке, если окажемся в разных местах. Шура будет прилагать все усилия, чтобы бежать из ссылки. С этим решением мы простились в один из весенних апрельских дней. Он уходил на этап. Я оставалась в тюрьме.

Шура уходит на этап

В последний раз обнял меня Шура, стоя уже на пороге камеры. Дверь за ним закрылась. Щелкнул замок.

В нашей камере я осталась одна. Все было полно Шурой. Только — койка его стояла незастланная одеялом, только — надзор отобрал лишнюю миску, кружку, ложку.

Очень трогало меня в те дни отношение товарищей. Они передавали мне приветы, то и дело справлялись о моем здоровье. В каждый обход начальника я получала от товарищей с других прогулок передачи. На Пасху я получила от одного из товарищей совершенно изумительную передачу: характерно тюремная, с редким искусством сделанная работа — в маленькой сумочке, сплетенной из разноцветных хлебных шариков, лежала писанка — художественно раскрашенное яичко и брошка, камея, — тоже вылепленная из жеванного хлеба.

Я и все окружающие думали, что мне придется пробыть до освобождения месяца полтора. Но ровно через неделю после отъезда Шуры дверь камеры открылась. Старший объявил:

— Собирайтесь с вещами.

Сперва я подумала, что меня переводят из одиночки в общую женскую камеру, но надзиратель добавил:

— Казенные вещи сдать, книги отдать библиотекарю. Белье в стирке есть?

Так готовят в этап. Я поняла, что меня вывозят из тюрьмы.

Прежде всего я прокричала товарищам в окно:

— Меня вызывают в этап! На моем счету 40 рублей. Спросите старосту, на чье имя перевести деньги?

Я стала складывать вещи, а мое сообщение шло к старосте тюремными путями.

Освобождавшихся весной 1926 года было много. Денежный фонд зэков оскудел. Каждый здоровый освобождающийся получал на дорогу всего 5 рублей. Больным выделялось 25 рублей. Такая сумма была назначена и мне. Остающиеся 15 рублей ста-

роста предложил мне перевести на имя Наташи.

Пока я собиралась, надзор стоял у меня над душой и торопил. Теперь он прямо говорил:

— Этап ждет. Вы задерживаете этап.

Мне так хотелось оттянуть, выйти на прогулку, проститься с товарищами.

— Почему не предупредили заранее? — ворчала я.

Причину спешки я выяснила потом. Администрация тюрьмы срочно включила меня в уже составленный и подготовленный этап. Настаивал на этом тюремный врач. Наступающая весна грозила разливом рек, бездорожьем. Тюрьма могла оказаться изолированной месяца на полтора. Он не хотел держать беременную в тюрьме сверх срока.

Так почему же не вывезли меня неделю назад вместе с Шурой? Ведь и сейчас дороги уже отказывали.

Последний раз оглядев нашу камеру, вышла я в коридор.

— До свидания, товарищи! — кричала я.

— До свидания, Катя! — кричали мне в ответ из камер.

Я шла коридором. За мной следовал надзор. Он нес мой чемоданчик и торопил меня. Но я не торопилась. Я медленно шла мимо камер, за стенами которых оставались товарищи.

Неделю спустя я на этапе в ссылку

В последнем приемном помещении, где формировался этап, я встретила пять человек, окончивших срок и вывозимых в ссылку. Егорушка Кондратенко и Марья Николаевна Волкова, фельдшерица по специальности, сразу взяли меня под свою опеку.

У ворот тюрьмы нас ждал конвой и три подводы. На них разместились мы, шесть зэков, и семь конвоиров, сопровождавших нас. Мы должны были добраться до железнодорожной станции Миасс. Дальше поездом до Челябинска — пересыльной этапной тюрьмы.

Дорога была ужасна. Кое-где на реках ломался лед. Конвой и возчики всю дорогу сомневались, доберемся ли мы до Миасс. Ехали мы не той дорогой, которой нас везли сюда. Мы пересекали окраины Верхне-Уральска, расположенного близ тюрьмы. Часто дороги заливали лужи, доходившие коням до брюха. Мы ехали на телегах. Колеса погружались в воду. Приходилось подбирать ноги повыше.

У меня шел восьмой месяц беременности. От тряски на подводе по ухабам и рытвинам мне стало нехорошо. Я крепилась, старалась не подавать виду, но Волкова, ехавшая со мной на одной телеге, волновалась и нервничала. Она ухаживала за мной, орала на извозчика и надзор, требуя осторожной езды. К концу первого дня мы добрались до села.

Подводы остановились у крайней избы. Каким счастьем было слезть с телеги, выпрямиться! Усталые, залепленные с ног до головы комьями грязи, зашли мы в хату. И застыли на пороге. Невозможно было переступить дальше. Ослепительная чистота комнаты остановила нас. Старушка-хозяйка, такая же чистенькая, как ее изба, приветливо шла нам навстречу. Радушие ее и гостеприимство уступало только ее любопытству. Стоило надзирателю выйти за порог хаты, как она оставляла все хлопоты и засыпала нас вопросами. Упорно допрашивала она нас, не мы ли царя убили, правда ли, что нас из серебряной посуды кормят...

Мы были не первым этапом, проходящим через ее хату. Всех, освобождавшихся из Верхне-Уральской тюрьмы, завозили на ночевку к ней. Неделю назад у нее ночевал Шура с товарищами.

Старушка поставила для нас самоварчик. Мы купили у нее молока, сама она угостила нас белыми калачами. Вся ее избушка — мы находились в чистой половине, зальце, — была увешана вышитыми полотенцами, картинками, фотографиями.

Позже мы увидели хозяина дома. Был он такой же благообразный и чистый, как хозяйка, но разговорчив не был, скорее был даже угрюм. Старики-хозяева были староверами. Курить и мы, и надзор выходили за порог.

На ночь для нас постелили какие-то тулупы, одежонки, рогожи. Хозяйка жалела нас...

После тюрьмы каждая мелочь вольного человеческого жилья волновала нас, но измученные дорогой мы скоро уснули.

А на рассвете двинулись дальше...

Челябинская пересылка

В пустом классном вагоне вместе с конвоем доехали мы до Челябинска. Там верхне-уральский конвой сдал нас в челябинскую пересыльную тюрьму. И только здесь объявили нам наши приговоры: всех нас ссылали на три года в Казахстан. Столицей Казахстана была Кзыл-Орда. Там должны были назначить нам место отбывания ссылки. Сначала мы должны были проследовать туда общим этапом.

В конторе пересыльной тюрьмы нам сказали, что этап идет раз в неделю. А прибыли мы в пятницу, последний этап ушел в четверг. Вероятно вчераш-

ним этапом ушел и Шура, — хоть бы узнать, куда послали его!

Нас разлучили с мужчинами и, опять тюремными коридорами, повели в женскую тюрьму.

С Шурой из Верхне-Уральска ушла Клавдия Порфирьевна Седых. О ней-то я узнаю, наверное, в пересыльной камере! Может быть, там знают и о Шуре. Мужчины, во всяком случае, обещали мне постараться узнать о нем.

Пересыльные камеры не были так забиты людьми, как в последующие годы. Но, так как этапы по разным направлениям уходили и приходили в разные дни, камеры никогда не бывали пусты. Однако политических мы не встретили.

Нас завели в небольшую пустую камеру. Заперли на замок. От пересыльных уголовных, спокойно расхаживавших по коридору, я узнала, что всех зэков, прибывших из Верхне-Уральска — и мужчин, и женщин — вчера отправили этапом в Кзыл-Орду.

До чего же мне было обидно! Поспей мы днем раньше — я бы шла вместе с Шурой!

Этап из Челябинска шел на Самарскую пересыльную тюрьму, и в тот же день я отправила Шуре открытку, где писала, что еду следом, что назначение мое — Кзыл-Орда. В Самаре Шура будет ждать следующего этапа и, может быть, успеет получить ее.

Режим пересыльных тюрем был тогда не строгим. Уголовные свободно передвигались по коридору, а кое-кто и по корпусу. В пересыльных камерах содержалась целая группа матерей с детьми. Тяжело видеть детей в тюрьме. Питание для детей было очень хорошее и они свободно бегали по коридору, но выглядели они все равно плохо.

В те годы тюрьмы для уголовных (в отличие от политизоляторов) назывались исправительными домами. При исправительном доме была организована классная комната, в которой стояли парты, висела большая доска... Нелепо выглядел этот класс с зарешеченными окнами. Вечерами зэков водили в бывшую церковь — там показывали кинофильмы.

В понедельник к нам в камеру поступило пополнение — прибыл этап из Москвы. С ним привезли двух анархисток, сестер Гарасевых, направляемых на три года в Верхне-Уральский политизолятор, и четырех социалисток-сионисток, едущих в ссылку в Казахстан.

Сестры Гарасевы, мои сверстницы, были очень взволнованы своим делом. Сбивчиво рассказывали они о легально существовавшей в Москве группе анархистов, о легально существовавшем клубе анархистов, который они посещали, о внезапном аресте членов этого клуба. Старшая из сестер, Таня, произвела на меня очень хорошее впечатление. Была она бледна и слаба. После трех месяцев следствия у нее открылся туберкулезный процесс. С Таней не раз впоследствии сталкивала меня жизнь.

О воле мы от них узнали мало. Или они остерегались нас, или были слишком потрясены своей судьбой.

С социалистами-сионистами я встретилась впервые. Я знала о еврейской социал-демократической партии «Бунд», знала о сионистском еврейском движении. А теперь социалисты-сионисты?..

Девушки-сионистки были очень юны. Все они пришли из еврейских местечек. Добиться от них, что представляет собой их движение, я не могла. Ясна была их мечта о Палестине; страстна была их меч-

та попасть туда, горяча любовь к своему народу. Я задала им такой вопрос:

— Едете вы в ссылку, кругом все чужое и все чужие. Первое время будет очень трудно... Нужен совет, нужна помощь... К кому же обратитесь вы за советом и помощью? К ссыльным русским социалистам? Или к евреям, пусть к буржуа, но к евреям?

— Конечно, к евреям, — отвечали девушки.

Этап уходил. Верхне-Уральск отступал в прошлое. Прощаясь с сестрами Гарасевыми, я просила передать привет товарищам, рассказать о встрече со мной, сообщить о моем и Шурином назначении в Казахстан.

Я уходила на волю, пусть в ссылку... Таня с сестрой шли за тюремные решетки. Тяжело прощаться с человеком, идущим на годы в тюрьму.

И опять в дороге

Арестантов выгнали за ворота, построили по пять человек в ряд и погнали окольными дорогами к вокзалу. Зэки не должны были видеть вольных людей, их же не должны были видеть вольные.

Дорога была мерзкой, грязной. Люди скользили. Конвой подгонял. Переход был не очень долгим. За полчаса мы добрались до путей.

Арестантский вагон, как обычно, был загнан в тупик. Он был один. Набили в него весь этап. Нас, политических, было немного, но уголовных — тьма. Всех нас, мужчин и женщин, загнали в одну клетку. Сразу стало нестерпимо душно — от тесноты, от закрытых окон, от опущенных верхних полок.

Внизу нас сидело десять человек, на верхних полках мужчины разместились по двое. Наши вещи за-

пихнули к нам в отделение — хорошо, что их было немного. Те, у кого было много вещей, побросали часть по дороге к вагону.

Сидеть приходилось согнувшись, скорчившись. От этого особенно страдала я. Товарищи пытались создать мне максимум удобств. Какой там максимум, когда не было и минимума! Главное же — не хватало воды. Рты пересыхали, томила жажда.

И все же настроение было бодрое. Ведь это же... из тюрьмы! А я еще надеялась, что догоню Шуру.

Увы, приехав в Самару, мы услышали, что Шура накануне уехал этапом в Кзыл-Орду. В Кзыл-Ординской тюрьме от группы зэков я узнала, что Федодеев получил направление в Семипалатинск и сразу же попал на обратный этап. Этап в Семипалатинск шел через Самару, Челябинск...

Я чувствовала, что еще месяц этапа не выдержу. Товарищи тоже были уверены, что меня не пошлют на длинный трудный этап. Не сбылись мои надежды на встречу в этапе, но маленькая радость у меня все же была: Шура в Самаре получил мою открытку и в кзыл-ординской пересыльной камере оставил для меня письмо.

Кзыл-Ординская тюрьма

Кзыл-Ординская тюрьма не походила ни на одну из виденных мною тюрем. (Те были царские /старые/ тюрьмы с большими мрачными коридорами в глухих каменных зданиях.) Глинобитный дувал окружал маленькое, низенькое здание с земляными полами, с крохотными каморками.

Было начало июня. Стояла давящая казахстанская жара. Тюрьма была переполнена. Мы не были

разобщены и замкнуты в камерах, — мы жили вповалку. Бичем тюрьмы были клопы. Таких огромных я не видела нигде. Прелести тюрьмы усугублялись рассказами о скорпионах, фалангах и каракуртах...

На счастье, я не задержалась в этом аду. На другой же день меня вызвал тюремный врач, а еще через день — тюремное начальство. Очевидно, от меня спешили отделаться, чтобы не иметь удовольствия принимать роды в камере. Мне объявили, что я по постановлению ОСО ссылаюсь на три года в город Чимкент, куда я буду направлена в ближайшие дни спецконвоем. О Чимкенте я раньше ничего не слышала. Не знал о нем и никто из товарищей. Единственно, нам удалось узнать, что это маленький городок, лежащий на железнодорожной ветке, отходящей от ташкентской железной дороги и идущей на Пишпек.

Вечером объявили мне место назначения, а на утро вызвали с вещами. На мое счастье, один из сотрудников ГПУ ехал по делу в Чимкент.

Впервые после долгого времени я ехала в нормальном вагоне. Мой спутник держал себя вежливо и, очевидно, не опасался, что я куда-либо сбегу. Он был абсолютно прав. Деться мне было некуда. Единственным моим желанием было скорей добраться до места и как-то обосноваться до родов. Денег в кармане у меня были все те же 25 рублей. Товарищи не дали мне истратить за этап ни копейки.

Я не трусила. Я была уверена, что встречу ссыльных, что они мне помогут. Действительность превзошла все мои ожидания.

ОГЛАВЛЕНИЕ